



Рудольф Рокер: Из книги «Национализм и Культура», 1949

Глава II, «Религия и политика»

Религия и политика. Корни философии власти. Происхождение религиозного чувства. Вера в душу и фетишизм. Жертва. Чувство зависимости. Воздействие земных отношений власти на формирование религиозного сознания. Религия и рабство. Религиозные основы владычества. Предание. Моисей. Хаммурапи. Фараонство. Книга законов Ману. Персидское божественное царство. Ламаизм. Александр и цезаро-папизм. Цезаризм в Риме. Инки. Чингиз Хан. Власть и жречество. Церковь и государство. Руссо. Робеспьер. Наполеон. Муссолини и Ватикан. Фашизм и религия.

Кто приступает к изучению человеческих обществ без уже готового учительского мнения или представления об обществе и, прежде всего, осознаёт, что не стоит сравнивать человеческие целеположения и понятия с механическими законами космического движения, тот очень скоро поймёт, что во все эпохи известной нам истории друг другу противостояли две силы, которые по причине их внутренних различий, в сущности, и получающихся из этого типичных форм проявления и практических воздействий находились в постоянной открытой или скрытой борьбе друг с другом. Речь здесь ведётся о политическом и экономическом элементе в истории, которые также можно обозначить как государственный и общественный элементы в истории. Точнее говоря, понятия политического и экономического в этом случае слишком узки, т.к. вся политика покоится в конечном итоге на религиозном образе восприятия человека, в то время как всё экономическое – культурной природы, и поэтому теснейшим образом соприкасается со всеми создающими ценности силами общественной жизни; так что, в целом, можно сделать вывод о внутреннем противоречии между религией и культурой.

Конечно, между политическими и экономическими, государственными и общественными, или в более широком смысле, между религиозными и культурными проявлениями есть некоторые точки соприкосновения: они все происходят из природы человека, следовательно, между ними есть и внутренние отношения. Речь идёт, в общем, о том, чтобы подробнее рассмотреть это отношение между этими двумя проявлениями. Каждая политическая форма

в истории обладает своими определёнными экономическими основаниями, которые особенно чётко выступают в новейших фазах истории общественных процессов. С другой стороны, это неоспоримо, что формы политики подчиняются изменениям в экономических и вообще культурных условиях жизни, и изменяются вместе с ними. Но внутренняя сущность всякой политики остаётся всегда одной и той же, так же как и сущность всякой религии всегда остаётся постоянной, и изменения в её внешних формах её не касаются.

Религия и культура, обе коренятся в инстинкте самосохранения человека, который дал им жизнь и форму; но, однажды вступив в жизнь, каждая следует своему собственному пути, т.к. между ними нет органической связи, так что они как враждебные друг другу звёзды движутся в противоположные стороны. Тот, кто не замечает этого противоречия или не придаёт ему по какой-либо причине значения, которого оно заслуживает, тот никогда не поймёт глубочайшее значение общественных взаимоотношений и общественных процессов в целом.

О том, где начинается область собственно религии, об этом мнения разделяются до сегодняшнего дня. Хотя все согласны в том, что познание мира религиозных представлений человека невозможно на пути спекулятивной философии. Люди поняли, что представление Гегеля, согласно которому все религии представляют собой только внутреннее поднятие духа к абсолютному, и которое вполне стремится к тому, чтобы найти единство божественного и человеческого, можно оценить только как пустые слова, которыми никак нельзя объяснить становление религии. Столь же произвольно «философ Абсолютного», который осчастливил каждую нацию особой исторической миссией, утверждал, что каждый народ в истории является носителем типичной формы религии: китайцы – религии соразмерности, халдеи – религии боли, греки – религии красоты и т.д., пока ряд различных религиозных систем не вылился в христианство, «религию откровения», приверженцы которого в персоне Христа распознали единство божественного и человеческого.

Наука сделала людей более критичными. Сегодня понимают, что все поиски начала и постепенного формирования религии должны производиться теми же методами, которыми уже пользуется социология и психология, чтобы охватить проявления общественной и душевной жизни в их началах.

Ранее распространённое убеждение английского исследователя языка Макса Мюллера, который хотел распознать в религии стремление человека объяснить бесконечное, и представлял позицию, что впечатление от природных стихий вызвало первые религиозные ощущения у человека и поэтому нельзя ошибиться, рассматривая культ природы как самую первую форму религии, сегодня более не находит последователей. Большинство этнологических форм религии придерживаются сегодня мнения, что анимизм, вера в духов или души усопших, следует рассматривать как первую ступень религиозного сознания человека.

Весь образ жизни скитающегося где придётся примитивного человека, его относительное незнание, духовное влияние его снов, его непонимание смерти, вынужденные посты, к которым ему часто приходилось привыкать, всё это делало его прирождённым ясновидцем, который, так сказать, был от рождения предрасположен к вере в духов. То, что он должен был ощущать в отношении духов, которыми населила мир его сила воображения, было сначала страхом. Этот страх причинял ему тем более страданий, поскольку он не сталкивался с настоящим врагом, но с невидимыми фигурами, с которыми нельзя было справиться обычными способами. Тем самым сама по себе возникла потребность, заручиться благожелательностью тех сил, избежать их хитрости и какими-либо средствами получить их поддержку. Это голый инстинкт выживания, который проявляется в этом случае.

От веры в духов произошёл фетишизм, представление, что дух может поселиться в каком-либо предмете или в каком-либо определённом месте; вера, которая и сегодня всё ещё живёт в суевериях многих цивилизованных людей, которые абсолютно уверены в том, что есть привидения и существуют места, где *что-то обитает*. Так же и служение реликвиям в ламаизме и в католической церкви по сути своей является фетишизмом. Можно ли называть анимизм и первые грубые представления фетишизма уже религией, в этом, как уже сказано мнения расходятся. Но что исходную точку всех религиозных представлений следует искать здесь, в этом, пожалуй, никто не усомнится.

Собственно религия начинается с союза между человеком и «духом», который находит своё выражение в культе. Для примитивных людей «дух» или «душа» не были абстрактными понятиями, но вполне телесным представлением. Поэтому вполне естественно, что они пытались справиться с духами посредством осязаемых доказательств своего обожествления и подчинения. Так, в их мозгу возникла идея жертвы, и т.к. опыт постоянно показывал, как жизнь убитого животного или побеждённого врага покидает тело вместе с вытекающей кровью, то они довольно рано поняли, что кровь на самом деле является *весьма особенным соком*. Это открытие придало и идее жертвы её основной характер. Кровавое жертвоприношение было, несомненно, первой формой жертвенного служения, что, кстати, было уже обусловлено охотничьей деятельностью примитивного человека. Идея кровавого жертвоприношения, которая без сомнения, относится к старейшим формам религиозного сознания, живёт и сегодня в великих религиозных системах современности. Символическое превращение хлеба и вина в христианской вечере в *плоть и кровь Христову* служит этому доказательством.

Жертва стала центром всех религиозных обрядов и праздников, которые проявлялись в заклинаниях, танцах и песнях и постепенно утвердились в определённом ритуале. Весьма вероятно, что жертвоприношения носили сначала очень личный характер, поскольку каждый, ведомый своими потребностями, мог принести жертву; но это состояние, пожалуй, не продлилось долго, пока оно не сменилось профессиональным жречеством вроде шаманов, знахарей, гангов и т.п. Развитие фетишизма в тотемизм, как называют веру в племенное божество по индейскому слову, которая обычно воплощается в животном, от которого племя производит своё происхождение, весьма благоприятствовало развитию определённого колдовского жречества. Но с этим религия обрела социальный характер, которого у неё раньше не было.

Рассматривая постепенное становление религии в свете её собственного развития, мы приходим к выводу, что два явления определяют её основную суть: *религия – это с самого начала чувство зависимости человека от высших неизвестных сил. И чтобы склонить эти силы на свою сторону и защититься от их враждебного влияния, инстинкт самосохранения заставляет человека искать средства и пути, которые давали бы ему возможность, достичь этой цели*. Так возникает ритуал, который придаёт религии её внешний характер.

Возможно ли на самом деле свести идею жертвоприношения к тому, что уже в древности в человеческих группах было обыкновение преподносить вождям племени или предводителям добровольные или вынужденные подарки, является предположением, за которое можно высказаться с некоторой вероятностью. Но нам кажется предположение, что примитивный человек без этого обычая никогда бы не додумался до идеи жертвы, слишком рискованным. Религиозные убеждения вообще могут возникнуть только, когда в мозгу человека возникает вопрос о причине вещей. Это подразумевает, однако, некоторое умственное развитие. Поэтому следует предположить, что должно было пройти некоторое время, пока человеческий ум не занялся этим вопросом. Картина, которую создал первобытный человек о

своём окружении, было сначала исключительно чувственной природы, как и ребёнок, который сначала воспринимает предметы окружения только чувственно и пользуется ими задолго до того, как ему начинает приходить в голову мысль о причине их существования. Кроме того, у многих диких народов всё ещё есть обычай позволять духам усопших принимать участие в трапезе, как и почти все праздники примитивных племён связаны с жертвенностью. Поэтому вполне возможно, что идея жертвы могла возникнуть и без предшествующего социального института родственной природы.

Но как бы то ни было, установлено, что в каждой религиозной системе, которая появилась на свет в течение тысячелетий, отражалась зависимость человека от высшей силы, которую вызвало к жизни его собственное воображение. Все боги были преходящи, но религия была постоянна в основе своей сущности, не смотря на все изменения её внешних форм. Это всегда был мираж, которому приносилось в жертву настоящее бытие человека, творец стал рабом своего собственного творения, даже не осознав сокрытую трагиду этого происшествия. Только потому, что в сущности всякой и каждой религии никогда ничего не менялось, известный немецкий преподаватель религии Кёниг мог сегодня начать свой учебник по католической религии словами: *«Религия в общем смысле есть познание и почитание Бога, и вообще отношение между человеком и Богом как его высшим господином»*.

Так, религия уже в её самых первых убогих начинаниях тесно срослась с представлением о власти, о сверхъестественном превосходстве, силе над верующим, одним словом, о владычестве. Современное исследование языка смогло в многочисленных случаях установить, что даже имена различных божеств изначально совпадали с теми понятиями, в которых воплощалось представление о власти. Не зря все представители авторитарного принципа выводят его от Бога, ведь божество кажется им воплощением всей власти и силы. Уже в ранних мифах герои, завоеватели, законодатели, племенные предки выступают как боги или полубоги; т.к. их величие и преимущество могло быть только божественного происхождения. Таким образом, мы подходим к глубочайшей причине всякой системы власти и понимаем, что всякая политика в конечном итоге является религией и как таковая стремится к тому, чтобы дух человека оставался закованным с цепи зависимости.

Было религиозное чувство уже в его ранних началах только абстрактным отражением земных отражений власти, как утверждали Нордау и другие, является вопросом, о котором можно поспорить. Кто может представить себе первобытное состояние человечества только как «войну всех против всех», как это делали Гоббс и его многочисленные последователи, тот легко склонится к тому, чтобы разглядеть в злобном и насильственном характере древних богов верное отражение деспотичных вождей и воинственных предводителей, которые приводили в страх и ужас собственных соплеменников, и чужие группы людей. Ведь мы ещё не так давно видели в современных дикарях как подлых, жестоких сообщников, которые постоянно стремятся к грабежу и убийству. Пока стократные результаты современной этнологии со всех частей света не доказали нам, насколько неверным было это убеждение.

То, что примитивный человек, как правило, представляет себе своих духов и богов такими склонными к насилию и ужасными, не стоит обязательно сводить к земным примерам. Всё неизвестное, что непостижимо для простого ума, действует устрашающе и беспокояюще на ум. От устрашающего до ужасающего всего один шаг. В те давно канувшие времена так могло быть тем более, что воображение человека ещё не находилось под воздействием приобретённого опыта, который мог бы побудить его к логическим контраргументам. Но если не всякая религиозная идея могла быть сведена к земным властным отношениям, то всё же ясно то, что в более поздние эпохи человеческого развития внешние формы религии

находились под массивным влиянием властных потребностей отдельных людей или небольших групп в обществе.

Всякой власти определённых человеческих групп над другими предшествовало желание присвоить себе продукты труда, средства труда или оружие других или изгнать их с определённой территории, которая казалась более выгодной с точки зрения жизнеобеспечения. Весьма вероятно, что победители на протяжении долгого времени удовлетворялись этой простой формой грабежа, а противника, если он оказывал сопротивление, просто уничтожали. Пока постепенно не догадались, что рациональней обязать побеждённых платить оброк или подчинить их новому порядку тем, что над ними устанавливалась правление и, тем самым, закладывалось основание рабства. Это было тем проще, т.к. взаимная солидарность распространялась только на членов того же племени, и находило там свои границы. Все системы власти изначально были чужим владычеством, где победители составляли особую касту с привилегиями, которая подчиняла своей воле побеждённых. Как правило, это были кочующие охотничьи племена, которые подчиняли себе уже осёдлые и сельскохозяйственные народы. Занятие охотника, которое постоянно ставит высокие запросы к способности действовать и выносливости человека, делало его по природе воинственным и кровожадным, что, в принципе, одно и то же. Землепашец же, который привязан к участку и чья жизнь, как правило, протекает более безопасно и мирно, в большинстве случаев не большой охотник до военных стычек. Поэтому он редко готов к столкновениям с воинственными племенами и подчиняется относительно просто, если чуждое владычество не такое невыносимое.

Но победитель, который однажды почувствовал вкус власти и научился ценить преимущество её экономических плодов, слегка опьянён своей исполнительной силой. Каждый успех подзадоривает его на новые предприятия, ибо в сущности всякой и каждой власти заключается, что её носители постоянно стремятся расширить сферу её влияния и надеть её ярмо на более слабые народы. Так, постепенно развилась особенная каста, для которой война и власть над другими стала профессией. Но никакая власть не может надолго опираться на голое насилие. Голое насилие может быть непосредственным поводом к подчинению людей, но оно одно никогда не может длительно гарантировать власть отдельных людей или особой касты над целыми группами людей. Для этого нужно большее: вера людей в неизбежность власти, вера в её желанную богом миссию. Такая вера глубоко коренится в религиозных ощущениях человека и подкрепляется мифами. Т.к. надо всем мифическим парит замутняющий взгляд религиозных убеждений и мистической связанности.

Это и есть причина тому, почему победители часто навязывают побеждённым своих богов, ведь они вполне поняли, что единство религиозных ритуалов может пойти их власти только на пользу. При этом, как правило, им совсем было не важно, продолжали ли боги побеждённых спокойно существовать и дальше, пока они не становились опасны для их власти, и играли второстепенные роли в отношении нового божества. Но это могло случиться только, если священники поощряли владычество завоевателей или сами участвовали в их политическом стремлении к власти, как это часто бывало в истории. Так, вполне можно доказать политическое влияние на позднее формирование религии вавилонцев, халдеев, египтян, персов, индийцев и многих других. Точно так же и знаменитый монотеизм евреев сводится к политическим стремлениям к объединению зарождающейся монархии.

Все системы власти и династии древности вели своё происхождение от божества, т.к. их носители рано поняли, что вера подданных является основой всяческой власти. Боязнь бога с давних пор была духовной предпосылкой всякого добровольного подчинения; только она и важна, т.к. она всегда была вечным фундаментом всякой тирании, под какой маской она бы не

скрывалась. Добровольное подчинение невозможно вынудить только чисто физически, только вера в богоподобность властителя может породить её. Поэтому до сих пор высшей целью всякой и каждой политики было разбудить эту веру в народе и укрепить её в душе. Религия – это самый упрямый принцип в истории, она связывает дух человека и втискивает его мышление в определённые формы, так что он по привычке выступает за сохранение традиционного и с подозрением смотрит на всё новое. Ибо это внутренний страх, утонуть в бездне, приковывает людей к старым формам сущего. – Луи де Бональд, бескомпромиссный защитник абсолютного принципа власти, понял скрытые связи между религией и политикой, когда произнёс слова: *«Бог является суверенной властью надо всеми существами, божественный человек – власть над всем человечеством, глава государства – власть над всеми подданными, глава семьи – власть в своём доме. Но так как вся власть создана по подобию бога и от бога происходит, поэтому всякая власть абсолютна».*

Всякая власть коренится в Боге; всякое владычество по своей сути божественно. Моисей принимает скрижали закона непосредственно из рук божьих, которые открываются словами: «Я – повелитель, Господь твой; не должен ты иметь никаких богов, кроме меня», и заключают союз господина с его народом. Знаменитый камень, на котором увековечены законы Хаммурапи, которые пронесли имя вавилонского царя через столетия, показывает нам Хаммурапи перед богом солнца Шамашем. Но предисловие, которое предшествует законам, начинается словами: *«Когда Ану, великий, царь аннунаков, и Бел, повелитель неба и земли, который держит в своих руках судьбы мира, отдали народы человеческие Мардуку, первенцу от Эа, божественному господину над законом, тогда они возвеличили его среди Игиги. Они провозгласили его благородное имя в Вавилоне, славном во всех землях, которые предназначены ему как царство, и которое вечно как небо и земля. Затем Ану и Бел осчастливили тело человечества, так как они призвали меня, прославленного господина и набожного Хаммурапи, чтобы я установил справедливость на земле, уничтожил плохих и беспутных, не дел сильным угнетать слабых, и сиял как бог солнца на тёмными головами людей и освещал страну».*

В Египте, где религиозный культ под влиянием могущественной касты жрецов был замечен во всех общественных учреждениях, обожествление властителя приняло совсем устрашающие формы. Фараон или царь-жрец считался не только представителем бога на земле, он и сам был богом и получал божественные почести. Ещё во время первых шести династий цари рассматривались как сыновья солнечного бога Ра. Хуфу, под чьим правлением была построена огромная пирамида, называл себя «воплощённым Гором». В одной пещере недалеко от Ибрима царь Аменхотеп Третий представлен как бог в кругу других богов. Тот же правитель велел строить и храм в Солебе, где его личность почиталась религиозно. Когда его наследник, Аменхотеп Четвёртый, запретил почитание других богов и оживил культ сияющего бога солнца Атона, в котором жила персоне царя, и сделал культ государственной религией, то на это были, бесспорно, причины политического характера. Единство веры должно было служить гарантом единства земной власти в руках фараона.

В древнеиндийской книге законов Ману написано: *«Бог создал царя, чтобы тот защищал творение. Для этой цели он взял части от Индры, ветра, от Ямы, от солнца, от огня, от неба, от Луны и от хозяина творения. И так как царь состоит из частей господ богов, сияние его затмевает сияние всех сотворённых существ, и подобно солнцу он слепит глаза и сердца, и никто не может взглянуть ему в лицо. Он есть огонь и воздух, солнце и Луна. Он – бог права, гений богатства, повелитель приливов и властелин горизонта».*

Ни в одной другой стране, кроме Египта и Тибета, организованная жреческая каста не добилась такой власти как в Индии. Она поставила своё клеймо на всём общественном

развитии огромной страны и посредством хитрого разделения всего населения на касты втиснула всю жизнь в железные формы, которые оказались тем более долговечными, т.к. были укоренены в религиозных заповедях. Достаточно рано каста брахманов заключила союз с кастой воинов, чтобы разделить с ней власть над народами Индии, причём жреческая каста всегда заботилась о том, чтобы настоящая власть осталась в её руках, а царь служил инструментом для выполнения её желаний. Жрецы и воины были божественного происхождения. Брахман происходил из головы Брахмы, а воин из его груди. Таким образом, у них были одинаковые побуждения, и закон повелевал, чтобы «обе касты были едины, т.к. они не могут обойтись друг без друга». Таким же образом возникла система цезаро-папизма, в которой единство религиозных и политических властных устремлений нашло своё наиполнейшее выражение.

В древней Персии так же властитель считался живым воплощением божественности. Когда он прибывал в город, его встречали маги в белых одеяниях под звуки религиозных песнопений. Дорога, по которой его несли, была усыпана ветвями мирты и розами, а по сторонам стояли серебряные алтари, на которых курился ладан. Власть его была безгранична, его воля – высший закон, его приказы - беспрекословны, как написано в Зенд- Авесте, священной книге древних персов. Только в редких случаях он показывался народу, и там, где он показывался, все должны были падать ниц и закрывать лицо.

В Персии тоже были касты и организованный класс жрецов, который хотя и не обладал такой неограниченной властью как в Индии, но был, тем не менее, первым классом в стране, чьи представители всегда имели возможность, как ближайшие советники царя, оказать влияние и воздействовать на судьбу царства. О роли священника в обществе рассказывает отрывок из Зенд-Авесты, где значится: *«Если бы ваши добрые дела были многочисленнее, чем листья на деревьях, чем капли дождя и звёзды на небе или песок у моря, то и они бы вам были бес пользы, если они не по нраву дестуру (священнику). Чтобы добиться благожелательности этого проводника на пути спасения, вы должны отдавать ему десятину от всего, чем обладаете: от ваших товаров, от вашей земли и от ваших денег. Если вы удовлетворили дестура, то ваша душа избежит мучений в аду; вы будете наслаждаться спокойствием в этом и счастьем в другом мире; ибо дестуры являются учителями религии, они знают всё и могут освободить всех людей».*

Фу Хи, который у китайцев считался первым правителем небесного царства, и который жил приблизительно за 2800 лет до нашей эры, празднуется в китайской мифологии как сверхъестественное существо и представляется на картинах, как правило, в виде человека с хвостом рыбы, который выглядит как тритон. Легенда называет его настоящим пробудителем китайского народа, который до его пришествия жил в дикости разрозненными группами, подобно стаям животных, и только он привёл людей на путь общественного порядка, который покоится в семье и почитании предков. Все царские династии, которые с незапамятных времён следовали друг за другом в Серединном Царстве, выводили своё происхождение от богов. Император называл себя «сыном неба», и поскольку в Китае никогда не было организованной жреческой касты, то практика культа, насколько можно было говорить о государственной религии, чьё влияние простиралось, кстати, только на высшие слои китайского общества, находилась в руках высших имперских чиновников.

В Японии Микадо, «высокие ворота», рассматривали как отпрыска солнечной богини Аматерасу, которая почитается в стране, как высшая богиня. Через личность властителя она изъясляет свою волю и правит народом от его имени. Микадо является живым воплощением божества, поэтому и его дворец называется «мия», т.е. храм души. Даже во времена сёгуната, когда вожди воинской касты столетиями обладали настоящей властью в стране, а Микадо

играл только роль декоративной фигуры, святость его личности в глазах народа оставалась неприкосновенной.

Так же и основание мощной империи инков, чья тёмная история задаёт современным исследователям много странных загадок, по легенде считается делом рук богов. Сага рассказывает, как Манко Капак со своей женой Окло Хуако однажды появился перед людьми на плато Куцко, представился им как Интипчури, т.е. Сын Солнца, и уговорил их признать его царём. И он научил их земледелию, и дал им много полезных знаний, которые дали им возможность стать творцами великой культуры.

В Тибете возникло под сильным влиянием жадной до власти касты жрецов то странное церковное государство, чья внутренняя организация чрезвычайно сходна с римским папством, и как оно знает и исповеди, и венки из роз, дымящиеся камины, почитание реликвий и тонзура священнослужителей. Во главе государства стоят Далай-лама и Богдо-Лама или Пен-Чен-Рин-По-Че. Первый считается реинкарнацией Готамы, святого основателя буддийской религии; последний – живым воплощением Тсонг-капа, великого реформатора ламаизма, которому, как и Далай-ламе, оказывают божественное почитание, распространяющееся вплоть до самых интимных потребностей.

Чингиз Хан, могущественный властитель монголов, чьи жестокие набеги и завоевания некогда приводили в ужас полмира, вполне открыто использовал религию как самое культурное средство своей властной политики, хотя сам он, судя по всему, принадлежал к классу «просвещённых деспотов». В своём собственном племени он считался потомком солнца, но в своём огромном царстве, которое простиралось от Днепра до Китайского моря, там, где жили люди с различными вероисповеданиями, он понял своим мудрым инстинктом, «что власть его у поработённых народов, равно как и у своего народа, может быть утверждена только посредством жреческой власти». *«Его солнечное жречество более не было достаточным. Несторианские христиане, мохамедане, буддисты, конфуциане и иудеи миллионами населяли его страны. Он должен был стать первым священником каждой религии. Со своими североазиатскими шаманами он занимался магией и спрашивал оракул трещин брошенных в огонь лопаточных костей овец. По воскресеньям он ходил на службу, причащался вином и дискутировал с христианскими священниками. В шаббат он ходил в еврейскую школу и показывал себя как кохан. По пятницам он держал что-то вроде селамика и был столь же хорошим халифом, сколь и турком в Константинополе. Он предпочитался быть буддистом, он вёл с Ламами религиозные разговоры, даже призывал к себе верховного Ламу из Сатьи и вынашивал политически великие планы, т.к. хотел перенести центр своего царства в буддийские области, в северный Китай, сделать буддизм государственной религией».* (Alexander Ular, Die Politik, Frankfurt a.M., 1906, S. 44)

И действовал ли Александр Македонский, которого история называет Великим, не столь же предусмотрительно и очевидно управляемый теми же мотивами, что и после него Чингиз Хан? После того, как он покорил мир и скрепил его реками крови, он вполне мог почувствовать, что такое творение не может устоять только посредством жестокого насилия. Поэтому он пытался закрепить свою власть в религиозных верованиях побеждённых народов. Так, он, «эллин», приносил жертвы египетским богам в храмах Мемфиса и пересекал со своей армией пылающую пустыню Ливии, чтобы задать вопрос оракулу Юпитера-Аммона в оазисе Сива. Услужливые жрецы называли его сыном великого бога и оказывали ему божественные почести. Так, Александр стал богом и явился персам во время своего второго похода против Дария как потомок могучего Зевса-Аммона. Только так можно объяснить полное подчинение крупнейшего царства македонцам, которое до такой степени не удавалось даже персидскому царю.

Александр пользовался этим средством только для того, чтобы подкрепить свои политические планы; но постепенно мысль о своём богоподобии опьянила его настолько, что он требовал божественной славы не только от покорённых народов, но и от своих земляков, которым такой культ был чужд, поскольку они знали его только как сына Филиппа. Малейшее противоречие могло довести его до безумия и толкало его нередко на чудовищные преступления. Его ненасытная жажда власти, подкреплённая военными успехами, лишили его всякой меры для измерения собственной персоны и сделали его слепым к любой реальности. Он ввёл при своём дворе церемонию персидского царя, которая символизирует абсолютное подчинение всего человеческого воле власти деспота. При нём, при эллине, выражение мании величия варварской тирании достигло самого яркого выражения.

Александр был первым, кто пересадила божественную царственность, цезаризм, на европейскую почву, которая до тех пор цвела только в Азии, т.к. государство там развилось самым неограниченным образом, а отношения между политикой и религией вызрели раньше. Но из этого нельзя заключить, что речь тут идёт об особенной предрасположенности расы. Распространение, которое нашёл цезаризм с тех пор в Европе – отчётливое доказательство того, что мы имеем дело с особым видом религиозного почитания, которое может возникнуть у людей всех рас и наций в похожих условиях, хотя нельзя и не признать, что его внешние формы привязаны к общественному окружению.

С Востока переняли цезаризм и римляне и развили его так, как он не был развит до этого ни в одной стране. Когда Юлий Цезарь поднялся до диктатора Рима, он вскоре попытался укоренить свою власть в религиозных обычаях народа. Он производил происхождение своего рода от богов и объявил Венеру своей прародительницей. Все его устремления были направлены на то, чтобы сделаться неограниченным правителем империи и непосредственно богом, которого ничто не связывает с простыми смертными. Его статуя в полный рост была помещена между статуями семерых правителей Рима, а его последователи исподволь распространяли слух, что оракул избрал его единственным правителем над империей, чтобы победить партов, которые до сих пор сопротивлялись римскому оружию. Его портрет был помещён среди бессмертных богов *romae circensis*. Его статуя была воздвигнута в храме Квирина, на её постаменте была сделана надпись: «Непобедимому богу!» В Луперции в его честь был построен коллегиум и были назначены жрецы, которые почитали его божественность.

Убийство цезаря положило его тщеславным планам скорый конец, но его последователи продолжили его дело, и вскоре император воссиял нимбом богов. Ему воздвигали алтари и оказывали религиозное почитание. Калигула, который обладал тщеславием, назвать себя капитолийским Юпитером, высшим богом-защитником римского государства, обосновал божественность цезаря следующими словами: «Так же как и люди, которые пасут овец и волков, сами не являются ни овцами, ни волами, но от природы стоят выше, чем оные, так и те, кто поставлен над людьми властителями, не являются людьми, как другие, а являются богами».

Римляне, которые не нашли, что возразить на то, что их властители заставляли оказывать себе божественные почести, поначалу хотя и упирались тому, что от римских граждан требовали того же, но привыкли к этому так же быстро, как и эллины во времена своего общественного упадка и гибели, буквально, в трусливом самоуничижении. Не только толпы поэтов и художников беспрепятственно разносили хвалу «божественному» цезарю; народ и сенат опережали друг друга в пресмыкающемся смирении и недостойной покорности. Вергилий по-рабски обожествлял цезаря в своей «Энее», и легионы других последовали его примеру. Римский астролог Фермий Матернус, который жил при правительстве Константина,

объявил в своём труде *De erroribus profanarum religiosum*: «Только цезарь не зависит от звёзд. Он является повелителем всего мира, которым он правит посредством властных притязаний высшего бога. Он сам принадлежит кругу богов, которых изначально божество назначило для сохранения и завершения всего происходящего».

Божественные почести, которые оказывались византийским императорам, ещё сегодня выражаются в значении слова «византиец». В Византии религиозное почитание императора достигло вершины в Котау, древнем восточном обычае, который принуждает простых смертных падать ниц и касаться лицом земли.

Римская империя превратилась в руины. Жажда власти её властителей, которая в течение столетий привела у миллионов подданных к исчезновению всяческого человеческого достоинства, жестокая эксплуатация всех угнетаемых народов и нарастающий распад во всей империи утомили людей морально, убили их социальное чувство и лишили их всякой силы для сопротивления. Так, они не смогли длительно противостоять натиску так называемых варваров, которые угрожали могучему Риму со всех сторон. Но «дух Рима», как это называл Шлегель, жил дальше, как и дух цезаро-папизма жил дальше после заката восточных царств, и постепенно отравлял молодую, несвязанную ничем силу германских племён, чьи военные предводители переняли роковое наследство цезарей. И Рим жил дальше в церкви, которая развила цезарство в форме папизма до наивысшей полноты власти, и с упорством преследовала цель, подчинить всё человечество скипетру верховного жреца в Риме.

Все политические устремления объединения были пропитаны римским духом, которые позднее приняли форму в идее немецкого императорства, в могучих империях Габсбургов, Карла Пятого и Филиппа Второго, Бурбонов, Стюартов и царских династиях. Хотя персона властителя и почитается непосредственно как божество, но он король «милостью божьей» и наслаждается немимым почтением своих подданных, которым он кажется высшим существом. Понятие божества изменялось в течение столетий, так же как и понятие государства испытало некоторые изменения; но настоящая сущность религии осталась нетронутой, так же как и сущность всякой политики, никогда не претерпевала изменений. Это всегда принцип власти, который носители небесного и земного авторитета утверждали в отношениях с людьми, и это всегда было чувство религиозной зависимости, которое заставляет массы подчиняться. Глава государства более не почитается в общественных храмах как бог, но он говорит вместе с Людвигом Четырнадцатым: «Государство – это я!» А Государство – это земное провидение, которое наблюдает за человеком и направляет его шаги, чтобы тот не сошёл с пути закона. Поэтому носитель государственной власти является только верховным жрецом власти, которая находит своё выражение в политике, как почитание бога в религии.

Но священник является посредником между людьми и той высшей властью, от которой подданные чувствуют себя зависимыми, и которая поэтому становится для него судьбой. Хотя утверждение Волни (Volney), что религия была изобретением жрецов, промахивается мимо цели, ибо религиозные представления существовали задолго до того, как возникла жреческая каста. Можно даже с некоторой уверенностью предположить, что жрец в начале и сам был убеждён в правильности своих познаний. Пока он постепенно не осознал, сколь неограниченная власть попала ему в руки со слепой верой и тупым страхом современников, и какие преимущества из этого возникали. Так, в жреце проснулось сознание власти, а с ним и жажда власти, которая становилась тем сильнее, чем жречество выступало как особая каста общества. Из жажды власти сформировалась «воля к власти». С этим у жречества возникла совершенно особая потребность. Управляемое ею, оно пыталось направлять религиозные чувства в определённом направлении и придавать вере такие формы, которые были выгодны собственным властным устремлениям.

Всякая власть была сначала властью жрецов и ещё осталась в своей сущности таковой. Древняя история знает множество тому примеров, когда роль священника сочеталась с ролью властителя и законодателя в одной личности. Уже происхождение бесчисленных титулов властителей от имён, из которых становится совершенно ясно жреческая функция их бывших носителей, уверенно указывает на общее происхождение религиозной и мирской власти. Александр Улар, утверждающий в своём глубокомысленном труде *Die Politik*, что папство никогда не занималось мирской политикой, но что до сих пор всякий мирской правитель пытался заниматься папской политикой, раскрывает сразу сущность вопроса. Это причина, по которой для всякой системы правления, без различия формы, характерны определённые теократические черты.

Всякая церковь стремится постоянно расширять границы своих властных полномочий и всё глубже укоренять в груди у человека чувство зависимости. Всякая мирская власть окрылена тем же стремлением, т.к. в обоих случаях речь идёт о равнонаправленных устремлениях. Как в религии бог является всем, а человек ничем, в политике государство – всё, подданный – ничто. Обе максимы мирской и небесной власти: «Я – господин, твой Бог» и «Подчиняйся начальству», происходят из одного и того же источника и срослись вместе, как сиамские близнецы. Чем более человек учился почитать бога как понятие совершенства, тем более опускался настоящий творец бога до жалкого земляного червя, до живого воплощения всей земной ничтожности и слабости. Теологи и учёные не уставали постоянно подчёркивать, что он является «грешником от рождения», которого можно спасти от вечного проклятия только откровением и строгим соблюдением заповедей божьих. И тем, что бывший подданный и сегодняшний гражданин снабдил государство всеми свойствами мирского совершенства, он деградировал сам себя до карикатуры на бессилие и бессловесность, которой правоведы и теологи государства постоянно вбивают в голову позорное убеждение, что он в самой глубине своего существа обладает тёмными инстинктами прирождённого преступника, которого только законом государства можно направить на тропу официально обозначенной благодетели. Идея первородного греха является основой не только всех великих религий, но и всякой теории государства. Полное унижение человека, роковая вера в ничтожность и греховность собственного существования с давних пор были самым мощным фундаментом всякого божественного и мирского авторитета. Божественное «ты должен» и государственное «ты обязан» дополняют друг друга наилучшим способом; заповедь и закон являются только различными выражениями одного и того же понятия.

Это причина, почему ни один мирской правитель до сих пор не смог отказаться от религии, т.к. она сама есть фундаментальная предпосылка власти. Там, где носители государства по политическим причинам бунтовали против определённой религиозной системы, это всегда случалось, чтобы ввести другую систему верования, которая лучше соответствовала их властным устремлениям. И так называемые «просвещённые монархи», которые сами ни во что не верили, не составляют исключения из этого правила. Фридрих Второй из Пруссии хотя и утверждал, что в его империи *«каждый может искать благодати по своему фасону»*, при этом он, конечно, предполагал, что благодать его власть не подорвёт. Знаменитая терпеливость Великого Фридриха выглядела бы иначе, если бы его подданные или хотя бы их часть решила получить свою благодать посредством умаления королевского величия или несоблюдения его законов, как это пытались сделать духоборы в России.

Наполеон Первый, который, будучи юным офицером, называл теологию «клоакой всякого суеверия и всякого заблуждения» и был убеждён, что «народу надо вместо катехизиса дать в руки вводный курс геометрии», совершенно переучился, когда поднялся до императора французов. Он не только, по своему признанию, долгое время играл с мыслью, при помощи Папы Римского заполучить мировое господство, он ещё и задавался вопросом, возможен ли

государственный порядок без религии. На что он сам себе ответил: *«Общество невозможно без разницы в имуществе, неравенство – без религии. Если человек умирает от голода рядом с другим, сытым, он ни в коем случае не мог бы смириться с этим, если бы не было власти, которая ему говорила бы: это воля Господня, здесь на земле должны быть богатые и бедные, а там, в вечности, будет иначе».*

Бессердечная открытость этого высказывания кажется тем более правдивой, что оно происходит от человека, который сам не верил, но обладал достаточным умом, чтобы понять, что никакая власть не будет долговечной, если она неспособна пустить корни в религиозном сознании людей.

Тесная связь религии и политики не ограничивается только фетишистским периодом государства, где общественная власть ещё находила своё высочайшее выражение в личности монарха. Было бы огорчительным самообманом, предположить, что современное правовое или конституционное государство существенно изменило это отношение. Как в поздних религиозных системах понятие божества стало более абстрактным и безличностным, так и представление о государстве потеряло многое из своего прошлого личностного, ориентированного на персону властителя, характера. Но даже в тех странах, где общество произвело разделение между церковью и государством, внутренние отношения между мирской властью и религией как таковой едва изменились. Только сегодняшние носители власти больше пытаются сконцентрировать религиозное стремление своих граждан к обожествлению на государстве, чтобы не делить свою власть с церковью.

Фактом остаётся, что великие первопроходцы современного конституционного государства подчёркивают необходимость религии для процветания государственной власти так же энергично, как до них и проповедники княжеского абсолютизма. Так, Руссо, который в своём труде «Общественный договор» нанёс абсолютной монархии неизлечимые раны, объявил вполне откровенно: *«Чтобы возникающий народ мог ценить священные основы государственного искусства и следовать самым элементарным принципам государственного права, было бы необходимым, чтобы действие стало причиной и общественный дух, который должен сначала стать результатом конституции, сам играл бы ведущую роль в конституции; чтобы, таким образом, люди ещё до возникновения законов были бы тем, чем они ещё должны с их помощью стать. Но т.к. законодатель не может ни заставить, ни убедить людей, он, необходимым образом, должен обратиться к авторитету высшего порядка, который в состоянии, уговорить без внешнего насилия и увлечь людей, не убеждая их. Это причина, по которой отцы наций видели себя во все времена вынужденными прибегать к помощи неба и поклоняться богам из разумности, чтобы люди, которые подчинены как законам государства, так и законам природы, добровольно подчинялись бы той же самой власти, которая сформировала как человека, так и государство, и покорно несли бы ношу государственного счастья. Это открытие, которое выходит за рамки понимания обычного человека, является тем, чьи решения законодатель вкладывает в уста божества, чтобы увлечь уважением перед высшей силой тех, кого нельзя убедить человеческой мудростью».* (Jean-Jacques Rousseau, Le Contrat social, книга 2, глава 7)

Робеспьер следовал указаниям учителя дословно и послал хеберистов и так называемых епгагес на эшафот, т.к. своей антирелигиозной пропагандой, которая на самом деле была только антицерковной, наносили ущерб авторитету государства и подрывали его моральные устои. Несчастные хебертисты! Они были такими же хорошими верующими, как и «неподкупный» и его якобинский церковный приход, вот только их стремление поклоняться двигалось по другой линии и они не хотели признавать никакой высшей силы кроме государства, который был для них святыней. Они были хорошими патриотами, и когда они говорили о «нации», то они были вдохновляемы том же самым религиозным пылом, как и

набожный католик, когда он общается со своим богом. Но они не были законодателями в стране, поэтому им не хватало той самой «высшей мудрости», которая, по словам Руссо, выходит за пределы понимания обычного человека, и решения которой законодатель осторожно даёт подтверждать устами божества.

Робеспьер, конечно, обладал этой высшей мудростью; он чувствовал себя законодателем «единой и неделимой республики», следовательно, он понимал, что атеизм был «занятием аристократическим», а его последователи были в Solde Pitts. Точно так же, как и сторонники большевизма обвиняют всякую мысль, которая им неприятна, в «контрреволюционности», чтобы вызвать возмущение верующих. В переломные времена такое клеймо является опасным для жизни и равносильно приказу «Убейте его, ибо он клеветал на Господа». Это пришлось познать и чебертистам, как и многим до и после них. Они были верующими, но не правочерными, поэтому гильотине пришлось им помочь, как раньше костёр помогал еретикам.

В своей великой речи перед конвентом о защите веры в высшее существо Робеспьер едва ли высказал хоть одну собственную мысль. Он ссылаясь на «общественный договор» Руссо, который он комментировал в обычной для себя, пространной манере. Он чувствовал необходимость государственной религии для республиканской Франции, и культ высшего существа должен был служить ему, чтобы вложить мудрость его политики новому божеству в уста, чтобы придать ей сияние славы божественной воли.

Конвент постановил, эту речь вывесить публично на каждом углу во Франции и перевести её на все языки, дабы нанести отвратительному учению атеизма смертельный удар и объявить миру настоящую веру французского народа. Но якобинский парижский клуб торопился высказать своё благоговение перед высшим существом в особенном памятном документе, содержание которого, как и речь Робеспьера, полностью коренилась в мыслях Руссо, и с особенной тонкостью указывал на определённое место в четвёртой книге «Общественного договора», в котором говорится: *«Так, есть чисто буржуазная вера, и установление её составляющих является исключительно делом главы государства. Речь идёт, собственно, не столько о религиозных учениях, но об общих взглядах, без следования которым никто не может быть ни гражданином, ни верноподданным. Не могущий никого заставить верить, государство имеет право изгнать каждого, кто в них не верит, и не как безбожника, но как кого-то, кто нарушает общественный договор, кто неспособен, честно любить законы и справедливость и в случае необходимости жертвовать своей жизнью ради обязанностей. Как только некто после общественного признания признаёт себя неверующим, он заслуживает смертной казни; он совершил самое худшее из всех преступлений, он принёс ложную клятву пред лицом закона».*

Молодая французская республика была ещё неустоявшейся властью, у которой ещё не было традиций, и к тому же вышла из свержения старой системы власти, чьи глубоко укоренившиеся остатки ещё жили в широких слоях населения. Она более чем другие государства нуждалась в углублении молодой власти в религиозном сознании народа. Хотя носители юной власти снабдили новое государство божественными атрибутами и сделали из культа нации новую религию, в которую Франция ударилась с кипучим воодушевлением. Но это происходило в сумятице нового переворота, в чьих штормах должен был рассыпаться старый мир. Но сумятица не могла длиться вечно, и можно было предвидеть время, когда наступившее отрезвление должно было уступить место критическим размышлениям. Ибо чего-то не хватало этой новой религии – предания, которое является важным элементом нового религиозного сознания. Поэтому это было лишь актом государственного резона, когда Робеспьер снова изгнал из храма «богиню разума», чтобы ввести культ высшего существа, чтобы снабдить «единую и неделимую республику» необходимым нимбом.

И новейшая история показывает нам типичные примеры этого сорта. Стоит только подумать о союзе Муссолини с католической церковью. Робеспьер никогда не ставил существование бога под вопрос, так же как и Руссо. Но Муссолини был признанным отрицателем бога и мрачным ненавистником всякой церковной веры, как и фашизм, который, следуя традициям итальянской буржуазии, поначалу выступал как ярый враг церкви. Но как смыслённый государственный теолог Муссолини вскоре понял, что его власть может быть долгой только, если ему удастся глубоко укоренить чувство зависимости у свои подчинённых и придать ему вовне религиозный характер. По этой причине он основал экстремальнейший национализм как новую религию, которая в своей эгоистичной исключительности и насильственном отграничении от других человеческих групп не признавала высшего идеала, чем фашистское государство и его пророка, Дуче.

Как и Робеспьер, Муссолини чувствовал, что его учению недоставало предания, и его молодая власть ещё не отбрасывала тени; это сделало его осторожным. Национальная традиция в Италии была для церкви неудобна. Люди ещё не забыли, что папство однажды проявило себя опаснейшим врагом национального объединения, которое смогло победить только в открытой борьбе с Ватиканом. Но мужи из *rigorgimento* и творцы национального единства Италии не были антирелигиозными борцами. Из политика была антиклерикальной, поскольку позиция Ватикана их вынудила к этому, но они не были атеистами. Мрачный ненавистник священников Гарибальди, который написал в предисловии к своим мемуарам слова: *«Священник является воплощением лжи, а лжец – это грабитель, а грабитель – это убийца, и я мог бы доказать священничеству другие подлые качества»*, даже Гарибальди был в своих национальных устремлениях глубоко религиозным человеком, всё его отношение к жизни коренилось в вере в бога. Так звучало его седьмой из двенадцати параграфов, которые он предложил в 1867 году конгрессу Лиги Свободы и Мира: *«Конгресс признаёт религию бога, и каждый его член обязуется помочь тому, чтобы разнести её по всей Земле»*.

Но Мадзини, предводитель Юной Италии и помимо Гарибальди выдающийся борец за национальное единство Италии, был проникнут до глубин своей души религиозной верой. Все его мировоззрение было странной смесью из религиозной этики и национальных политических устремлений, которые, не смотря на их демократическую внешнюю сторону, были вполне авторитетными. Его выборный лозунг «Бог и народ» был символичен для целей, которые он преследовал, ибо нация была для него религиозным представлением, которое он пытался охватить в рамках политической церкви.

Муссолини и вместе с ним многочисленные лидеры итальянского фашизма не находились в столь завидном положении. Они враждовали не только с церковью, но и с религией. Такое прошлое связывает, особенно в стране, чья столица на протяжении столетий была центром мощнейшей церкви, которая может воспользоваться тысячами органов, которые всегда готовы по высочайшему приказу поддерживать память о подозрительном прошлом главы фашистского государства в народе. Поэтому было полезно примириться с этой силой. Но это было не так просто, ибо между Ватиканом и итальянским государством лежал день 20-ого сентября 1870 года, в который войска Виктора Эммануэля вошли в Рим и положили конец власти церковного государства. Но Муссолини был готов к любой жертве. Чтобы купить мир с Ватиканом, он восстановил, хотя бы и в малом формате, церковное государство, откупился от Папы за несправедливость, которое было однажды совершено в отношении его предшественника, признал католичество государственной религией и отдал священникам значительную часть общественных воспитательных учреждений.

Это не были религиозные или моральные причины, которые заставили Муссолини сделать этот шаг, а трезвые политические размышления. Он нуждался в политической поддержке для

своих империалистических планов и должен был особенно позаботиться о том, чтобы преодолеть недоверие, с которым его встречала заграница. Поэтому он искал наполнения той силой, которая до сих пор противостояла всем штормам времени, и чья охватывающая весь мир организация при некоторых обстоятельствах могла стать для него очень опасной. Получил ли он при торгах то, что хотел, это другой вопрос, который нас здесь не касается. Но тот факт, что это был именно «всемогущий Дуче», который снова открыл ворота Ватикана и положил конец «плуну Пап», является одним из гротескных фактов в истории, который будет дольше поддерживать в живых имя Муссолини, чем что-либо другое, что связано с этим именем. Так же и фашизм должен был прийти к выводу, что керосином, убийствами и погромами, насколько бы ни казались эти средства фашистскому государству полезными для его внутренней политики, нельзя установить длительную власть. Поэтому Муссолини забыл на некоторое время «фашистское чудо», из которого, якобы, был заново рождён итальянский народ, чтобы «Рим в третий раз стал сердцем мира», и искал союза с силой, чья тайная сила заключалась в тысячелетней традиции, и которую поэтому так тяжело пошатнуть.

В Германии, где носители победившего фашизма не обладали ни способностью к приспособлению, ни разумностью Муссолини и верили в глупом непонимании фактов, что вся жизнь народа может быть переустроена в соответствии с произволом малокровных теорий, им пришлось дорого заплатить за эту ошибку. Хотя даже Гитлер и его духовные советники поняли, что так называемое тоталитарное государство должно быть внедрено в традиции масс, чтобы быть долговечным; но то, что они называли традициями, было плодами их больного воображения, отчасти представлениями, которые уже как столетия назад умерли в народе. Даже боги становятся старыми и должны умереть, чтобы быть заменёнными другими, лучше отвечающими потребности в вере времени. Одноглазый Вотан и милая Фрея с золотым яблоком жизни являются лишь тенями давно прошедших времён, которые не может воскресить к жизни ни один «миф двадцатого столетия». Поэтому иллюзия «нового немецкого христианства на германской основе» была такой безгранично глупой и постыдно бездуховной.

Это ни в коем случае не было насильственным и реакционным характером политики Гитлера, что заставило сотни католических и протестантских священников сопротивляться «уравнению» церкви; это было пониманием, что это безмозглое предприятие, безусловно, должно было потерпеть крушение, и люди были умны настолько, чтобы не перенимать ответственности, последствия которой могли быть для церкви только роковыми. Чем могло помочь, что представители Третьего Рейха отправляли упорствующих священников в концлагеря и в кровавые дни июня пристрелили нескольких выдающихся представителей католицизма по традициям гангстеров? Они не смогли вызвать шторм и должны были, в конце концов, пойти на попятную. Гитлер, которому удалось расправиться с рабочим движением, насчитывающим миллионы, в несколько недель, наткнулся здесь на первое сопротивление, против которого Вотан не мог ему помочь.

Ещё более гротескно, чем в фашистской Италии вызревали события в России при знаменитой «диктатуре пролетариата». Когда вышло в свет первое издание этого труда (Национализм и культура) в 1936 году, на «красной родине пролетариата» ещё обладало силой слово Маркса, называвшего религию «опиумом народа», а Союз Безбожников пытался изо всех сил донести это понимание до народа. После этого русское правительство восстановило церковь в её правах и признало патриарха Сергия главой церкви. Союз Безбожников был ликвидирован и более не нарушает перемирия между церковью и государством. Но не только: Интернационал больше не является гимном русского народа. Интернационализм старых большевиков должен был уступить место национальным соображениям, и в новых учебниках деспоты вроде Ивана Грозного и Петра Великого празднуются как защитники национальных интересов. Православная церковь с её

миллионами верующих, обладающая так же и в Румынии, Болгарии, Сербии и Греции большим количеством приверженцев, дьявственно-политических устремлений России является союзником, чью силу такой хладнокровный политик как Сталин вполне ценил. Как и Муссолини, он вместе с Вольтером понял, что если бы бога не было, то нужно было бы его выдумать. Если это не триумф церкви, но всё же физиологическая основа земного провидения государства, даже если это государство называет себя диктатурой пролетариата.

Глава IV, «Власть и культура»

Возникновение каст как государственная необходимость. Учение Платона о классовом разделении в государстве. Отграничение наружу как условие политики власти. Учение о государстве Аристотеля и представление о «неполноценности». Духовное бесплодие власти. Власть и культура как антиподы. Государство и община. Власть как привилегия меньшинства. Власть и право. Естественное право и «позитивное право». Двойственная роль закона. Свобода и авторитет. Право как мерило культуры. Борьба за право в истории.

Всякая власть предполагает некую форму человеческого рабства, т.к. разделение общества на высшие и низшие классы является одним из первейших условий её существования. Исходящее из каждой конструкции власти разграничение на касты, сословия и классы соответствует внутренней необходимости, чтобы лишить народ привилегий, а легенды и традиции заботятся о том, чтобы вера в неизбежность этого разделения в представлении людей подпитывалась и углублялась. Молодая власть может положить конец владычеству старых привилегированных классов, но может сделать это только, призывая к жизни новую привилегированную касту, в которой она нуждается для исполнения своих планов. Как сегодня, когда основатели «диктатуры пролетариата» в России должны были дать жизнь комиссарократии, которая так же отдаляется от широких масс работающего населения, как привилегированные классы от населения любой другой страны.

Ещё Платон, который в государственном интересе хотел настроить душевное восприятие отдельной личности на определённое правительством понятие добродетели тем, что выводил всякую мораль из политики, и тем самым первым создал духовные предпосылки для так называемого «государственного резона» - ещё Платон уяснил, что разделение на классы является для государства внутренней необходимостью. По этой причине он сделал из принадлежности к одному из трёх сословий, на которых должна была покоиться государственность, о которой он мечтал, вопрос судьбы, на которую индивид не мог оказать влияния. Но чтобы заставить человека поверить в своё «естественное предназначение», государственный муж должен был прибегнуть к «полезному обману» тем, что он сказал: «Столь многие из вас достойны властвовать, таким творящим божеством было положено золото в сотворяющую массу, поэтому и ценность их самая большая; серебро – их помощникам, железо и руда – крестьянам и другим ремесленникам». Но на вопрос, как можно заставить граждан поверить в этот обман, ответ звучит так: «Их самих убедить в этом я считаю невозможным, но возможным – сделать сагу правдоподобной для их сыновей и потомков и всех последующих поколений». (Платон, Государство, книга третья)

Тут судьба человека определяется смесью, которая досталась ему от бога, и от которой зависит быть ему господином или рабом. Углубить эту веру в неизбежную судьбу в представлении людей и дать им мистическое основание религиозного убеждения, было до сих пор первейшей целью всяческой властной политики.

Как государство пытается предотвратить в своих границах всякое общественное уравнение своих подданных и увековечить пропасть между ними посредством деления на касты и классы, так же ему нужно заботиться о том, чтобы обособиться вонне от других государственных образований, чтобы приучить своих граждан к вере в своё национальное превосходство над другими народами. Платон, единственный греческий мыслитель, у которого идея национального единства всех эллинов сформулирована довольно ясно, чувствовал себя тоже исключительно греком и смотрел с нескрываемым презрением на

«варваров». Мысль, что их можно было бы поставить рядом с эллинами, или хотя бы приблизить, казалась ему столь же никчёмной, сколь и невероятной. По этой причине он хотел, чтобы в его идеальном государстве все тяжёлые и унижительные работы производились чужаками и рабами. Он видел в этом не только выгоду для эллинской касты хозяев, но и благое дело для самих рабов, которым, по его мнению, должно казаться удачным волеием судьбы, что они должны служить именно грекам, т.к. они были раз и навсегда обречены, исполнять низкую службу слуг.

Аристотель ещё чётче обрисовал понятие «естественного предназначения» человека. Для него тоже существовали народы и классы, которые были природой предназначены для того, чтобы выполнять низшие работы. Хотя он и различал между «рабами от природы» и «рабами по закону», причём под первыми он понимает таких, которые по причине их умственной несамостоятельности самой природой предназначены подчиняться другим, в то время как тех, кто лишились свободы пленением на войне, он называл «рабами по закону». В обоих случаях раб для него – «живая машина», и как таковая является «частью своего хозяина». По принципам, которые представляет Аристотель в своей «Политике», рабство одинаково служит и хозяевам и подчинённым, поскольку природа дала одним более высокие способности, а другим только грубую силу животного, чем сами по себе уже объясняются роли хозяина и раба.

Для Аристотеля человек был «существом, образующим государства», которое по самой своей сущности призвано быть гражданином под каким-либо правительством. Только по этой причине он осуждал самоубийство, ибо он отрицал право индивида уклоняться от государства. Хотя Аристотель довольно негативно оценивал идеальное государство Платона, а в особенности общность товаров, к которой тот стремился, он называл «противоречащей закону природы», государство было для него, прежде всего, серединой точкой, вокруг которой вращалось всё земное бытие. И т.к. он, подобно Платону, придерживался мысли, что управление государственными делами должно всегда находиться в руках небольшого меньшинства избранных, которые были самой природой предназначены для этого, то он должен был необходимым образом прийти к тому, чтобы оправдывать привилегии избранных неполноценностью широких слоёв населения и сводить это состояние к железной руке законов природы. Но в этом представлении коренится «моральное оправдание» всякой тирании. Стоит только привыкнуть к тому, что собственные сограждане разделяются на душевно неполноценную массу и призванное природой к творческим занятиям меньшинство, то из этого, само по себе, возникает вера в существование неполноценных и избранных народов. Особенно, если избранные получают выгоду от рабского труда неполноценных и могут, таким образом, освободиться от забот о собственном существовании.

И всё же вера в якобы творческие способности власти покоится на ужасном самообмане, т.к. власть как таковая вообще ничего не может создать и полностью зависит от творческой деятельности подданных, чтобы вообще существовать. Ничто так не ведёт к заблуждению как попытка угледеть в государстве настоящего творца культуры, как оно, к сожалению, почти всегда и происходит. Именно противоположность является правдой: каждое государство с самого начала было тормозящей силой, которая относилась к возникновению всякой высшей культуры с нескрываемым подозрением. Государства не создают культуры, но они зачастую погибают от более высоких форм культуры. Власть и культура, в глубинном смысле, являются принципиальными противоречиями; сила одного зависит от слабости другого. Могучий государственный аппарат – величайшее препятствие для всякого культурного развития. Там, где государства погибают, или где их власть сведена к минимуму, культура процветает лучше всего.

Эта мысль кажется большинству такой дикой, т.к. более глубокий взгляд на истинные причины культурного движения полностью замутнён лживой дрессировкой образования. Чтобы сохранить государственные интересы, нам забили мозг огромным количеством неверных понятий и глупых представлений, так что большинство вообще больше не в состоянии, непредвзято относиться к историческим событиям. Мы усмехаемся глупости китайских летописцев, утверждающих, что легендарный властитель Фу-Хи научил своих подданных искусству охоты, рыбалки и животноводства, придумал для них первые музыкальные инструменты и научил их пользоваться письменностью. Но мы бездумно повторяем то, чему нас научили о культуре фараонов, творчестве вавилонских царей или о якобы культурных заслугах Александра Македонского или «старого Фрица», и мы даже не догадываемся, что всё это фальшивый фокус, лживая глупость, который не содержит ни малейшего зёрнышка правды, но так часто повторялся нам, что стал для большинства уверенностью.

Культура не создаётся по приказу; она создаёт саму себя и возникает спонтанно из потребностей людей и их общественного взаимодействия. Ни один правитель не мог заставить людей, создать первые инструменты, воспользоваться огнём, изобрести телескоп или паровую машину или написать «Илиаду». Культурные ценности зачастую возникают не по указанию сверху, их нельзя потребовать диктатом или вызвать к жизни решениями законодательных собраний. Ни в Египте, ни в Вавилоне, ни в ещё какой-либо стране культура не была создана носителями политической власти; они только переняли уже существующую и развитую культуру, чтобы приспособить её для своих властно-политических устремлений. Но тем самым они стали подрывать корни всякого культурного развития; ибо в том же размере, в каком утверждалась политическая власть и подчиняла себе все области общественной жизни, происходило внутреннее окостенение старых форм культуры, пока на месте её бывшего ареала действия не перестало что-либо произрастать.

Политическая власть всегда стремится к униформизации. В своём тупом стремлении, распределять и управлять всем происходящим в обществе в соответствии с определёнными законами, она всегда стремится подчинить все области человеческой деятельности однообразным шаблонам. Тем самым, она вступает в неразрешимое противоречие со всеми высоким культурного творчества, постоянно ищущего новых форм, и поэтому привязанного к многообразному и многостороннему в человеческих устремлениях, как и политическая власть – к шаблону и твёрдой форме. Между политическим и экономическим стремлением к власти привилегированных меньшинств в обществе и творческой деятельностью народа всегда происходит борьба, т.к. оба стремятся в разные стороны, которые добровольно никогда не сольются и могут быть объединены в кажущейся гармонии только принуждением и взаимным изнасилованием. Ещё китайский мудрец Лао-Цзы понял это противоречие, когда он сказал:

Управлять обществом, как известно из опыта, невозможно.

Общество есть взаимодействие сил, и как таковое, понятно, не может управляться силами одного.

Наводить в нём порядок – значит создавать беспорядок;

Укреплять его – значит мешать ему.

Ибо дела человека изменчивы,

Тут – идти вперёд, там – назад;

Тут – показывать доброту, там – холод;

Тут – применять силу, там – показывать слабость;

Тут – активно действовать, там – быть спокойным.

Так что – Совершенный избегает жажды власти,

Избегает действия власти,

Избегает блеска власти.

Ницше тоже распознал эту глубинную правду, хотя его внутреннее разногласие, его постоянные колебания между пережитками авторитарных взглядов и истинно свободолюбивыми идеями всю жизнь мешали ему сделать из этого верные выводы. Тем не менее, то, что он написал об упадке культуры в Германии, имеет огромное значение и находит себе подтверждение в упадке какой бы то ни было культуры.

«Никто не может отдать больше, чем имеет: это верно для индивидов, это верно для народов. Отдаваясь власти, большой политике, экономике, мировому движению, парламентаризму, военным интересам – отдаёшь некое количество рассудка, серьёзности, воли, самопреодоления, которыми является человек, с этой стороны, начинает недоставать с другой. Культура и государство – не стоит тут себя обманывать – антагонисты: «культурное государство» есть просто современная идея. Одно живёт на другом, цветёт за счёт другого. Все великие времена культуры являются временами политического упадка: то, что было великим в смысле культуры, было аполитичным, даже анти-политичным». (Фридрих Ницше, «Сумерки богов»)

Если государству не удаётся, направить происходящее в культуре внутри своих границ в определённые, полезные для его интересов рамки, и тем самым прекратить поиск новых форм, то рано или поздно эти высшие формы духовной культуры взорвут политические рамки, которые они воспринимают как помеху. Но если политический аппарат достаточно силён, чтобы втиснуть культурную жизнь долгосрочно в определённые формы, то она ищет себе постепенно новые пути, ибо она не привязана к политическим границам. Всякая высшая форма культуры, если только она не слишком связана политическими препятствиями в своём естественном развитии, всегда стремится к постоянному обновлению творческого формирования. Каждое удавшееся творение будит желание ещё большего совершенства и более глубокого одухотворения. Культура всегда творит, ищет новые формы своего применения; она похожа на растения джунглей, чьи ветви касаются земли и постоянно отрачивают новые корни.

Но власть никогда не является творческой, она бесплодна; она просто использует творческую силу имеющейся культуры, чтобы спрятать свою наготу, поправить свой имидж. Власть – всегда негативный элемент в истории, который украшается чужими перьями, чтобы придать своей импотенции вид творчества. И тут Ницше ударяет словами Заратустры не в бровь, а в глаз: «Там, где есть народ, там он не понимает государства и ненавидит его как недобрый взгляд и грех против морали и прав. Знак даю вам: каждый народ говорит на своём языке добра и зла; соседи этого не понимают. Он изобрёл свой язык в обычаях и правах. Но государство лжёт на всех языках добра и зла; и о чём бы оно не говорило – оно лжёт, и чем бы оно не обладало – оно это украло. В нём всё фальшиво, украденными зубами кусает оно, кусачее. Фальшивы даже внутренности его».

Власть всегда действует разрушительно, т.к. её носители всегда стремятся к тому, чтобы втиснуть все выражения общественной жизни в корсет своих законов и подогнать их под определённую норму. Их форма духовного выражения – мёртвая догма, её физическое управление – brutальное насилие. Бездушные её стремлений накладывает отпечаток и на личность своего носителя и делает его самого постепенно бездуховным и жестоким, даже если он с рождения обладал наилучшими чертами. Ничто так не отупляет душу и ум человека как вечный звон рутины, а власть есть лишь рутинка.

После того, как Гоббс подарил миру свой труд «Гражданин» (De Cive), идеи, представленные в нём, никогда полностью не выходили из моды. В течение последних трехсот лет они в той

или иной форме постоянно занимали мышление человека, а сегодня они царят в умах более чем когда-либо. Материалист Гоббс, хотя никогда и не опирался на учение церкви, тем не менее, сделал своим лозунгом чреватое последствиями высказывание: «человек зол по природе!» Все его философские наблюдения происходили под этим девизом. Человек для него был зверем, который руководствовался только эгоистическими инстинктами и не знал заботы о ближнем. И лишь государство положило этому состоянию «войны всех против всех» конец и стало провидением на земле, чья упорядочивающая и наказывающая рука не давала человеку погрязнуть окончательно в болоте животных страстей. Так, по Гоббсу, государство стало творцом культуры, который железной рукой загонял человека на высшую ступень его бытия, как бы это ни противоречило человеческой природе. С тех пор эта сказка о роли государства как творца культуры была повторена неисчислимое количество раз, и была якобы подтверждена новыми фактами.

И всё же эта необоснованная теория противоречит всему историческому опыту. То, что до сих пор осталось у человека звериного как наследство от пращуров, именно государством на протяжении столетий оберегалось и культивировалось. Мировая война с её отвратительными методами убийства людей с широким размахом, условия в Италии при Муссолини и в гитлеровском Третьем Рейхе должны бы показать и самому слепому, что такое так называемое «культурное государство».

Каждое более высокое постижение, каждая новая фаза духовного развития, каждая мысль, начинающая эпоху и открывающая человеку новые горизонты его культурного творчества, могли утвердиться только в постоянной борьбе против церковных и государственных авторитетов после того, как её носители на протяжении эпох были вынуждены приносить в жертву своё имущество, свободу и жизнь, чтобы убедить авторитеты. Когда такие обновления духовной жизни всё же признавались церковью и государством, то только потому, что они становились такими популярными, что иначе уже было нельзя. Но даже это, отвоёванное при ожесточённом сопротивлении, признание приводило в большинстве случаев к планомерной догматизации новых идей, которые так же были обречены постепенно окостеневать под умертвляющей опекой власти, как и прошлые попытки расширения духовных горизонтов.

Уже тот факт, что всякой организации власти всегда предшествует воля привилегированных меньшинств, которая навязывается народам сверху посредством хитрости и открытого насилия, в то время как в каждой особенной фазе культуры лишь получает выражение анонимное действие общества, является показательным для противоречия между этими двумя тенденциями. Власть всегда исходит от индивидов или от маленьких групп; культура всегда коренится в общности. Власть – всегда стерильный элемент общества, не обладающий творческой силой; культура воплощает волю к зачатию, жажду творчества, стремление к оформлению, которые жаждут выражения. Власть можно сравнить с голодом, удовлетворение которого до определённой границы поддерживает жизнь индивида. Культура в самом высшем смысле подобна инстинкту размножения, действие которого сохраняет жизнь вида. Индивиды умирают, но не общество. Государства распадаются, культуры же только меняют сцену и формы своего выражения.

Государство показывает интерес только к таким формам культурной деятельности, которые увеличивают его способность сохранять за собой власть; но он преследует с непримиримой ненавистью всякую культурную деятельность, которая переходит установленные им границы, и могла бы поставить его существование под вопрос. Поэтому столь же глупо, сколь и лживо говорить о «государственной культуре», т.к. именно государство находится в состоянии войны со всеми высшими формами духовной культуры и всегда стремится в направлении, которого творческая воля культуры в страхе избегает.

Но если даже власть и культуры являются противоположными полюсами в истории, то, тем не менее, у обоих есть общее поле деятельности в общественной деятельности людей и они вынуждены невольно уживаться друг с другом. Чем сильнее культурное творчество людей попадает в поле влияния власти, тем заметнее становится окаменение его форм, онемение творческой силы созидания, постепенное отмирание его воли зачатия. С другой стороны, общественная культура тем сильнее перешагивает через властные заслоны, чем меньше она подавляется политическими и религиозными средствами давления в своём естественном развитии. В этом случае она вырастает в непосредственную опасность для сохранения власти вообще.

Силы, создающие культуру, произвольно восстают против принуждения во властно-политических учреждениях, о чьи острые контуры они ранятся, и пытаются сознательно или неосознанно, взорвать твёрдые формы, которые мешают их естественному развитию и постоянно ставят им новые преграды. Носители власти, однако, должны постоянно заботиться о том, чтобы духовная культура современности не пошла по запретным путям, которыми устремления властно-политической деятельности могут быть нарушены или совсем прекращены. Из этого постоянного спора двух противоположных направлений, одно из которых представляет кастовую сущность привилегированных меньшинств, другое – интересы общества, постепенно образует некоторое правовое отношение, на основе которого периодически заново проводятся и утверждаются в конституциях границы притязаний между государством и обществом, политикой и экономикой, короче, между властью и культурой.

То, что мы понимаем под «правом» и «конституцией» является только мысленным отражением этой бесконечной борьбы и стремится создать перевес в своих практических проявлениях более с одной или другой стороны в жизни общества. Т.к. государство без общества, политика без экономики, власть без культуры не смогут просуществовать ни секунды, с другой стороны, т.к. культура до сих пор не смогла полностью исключить из общественной жизни властный принцип, то право становится прослойкой между ними, который ослабляет их столкновения и охраняет общество от состояния постоянной катастрофы.

В праве, для начала, следует различать две формы: естественное право и позитивное право. Естественное право существует там, где общество ещё не разделено политически, т.е. государство с его кастовой или классовой сущностью ещё не появилось. В этом случае право является продуктом взаимной договорённости между людьми, которые свободны и равны между собой, преследуют одни и те же интересы, и каждый из которых обладает тем же человеческим достоинством.

Позитивное право развивается только в политических рамках государства и касается людей, которые разделены различными интересами, и по причине общественного неравенства принадлежат к разным кастам или классам. Позитивное право действует тем, что оно, с одной стороны, придаёт правовой характер государству, которое во всей истории происходило из открытого насилия, захвата и порабощения побеждённых, с другой стороны, пытается достигнуть равновесия между правами, обязанностями и интересами различных слоёв общества. Это равновесие всегда длится ровно столько, пока масса порабощённых смиряется с существующим правовым положением или ещё не чувствует себя настолько сильной, чтобы бороться с этим. Оно смещается, когда в народе желание пересмотрения правовых отношений становится таким сильным и необходимым, что власти – подчиняясь необходимости, а не своим устремлениям – вынуждены считаться с этим, если они не хотят вылететь из седла во время насильственного переворота. Если так случается, то новое

правительство создаёт формулировку нового права, которое будет тем более глубоким, чем сильнее выражается живая революционная воля в народе.

В азиатских деспотиях древности, где вся власть воплощалась в личности властителя, чьи решения не считались ни с какими претензиями общества, власть была правом в полном смысле этого слова. Т.к. властитель почитался как непосредственный потомок божества, воля его считалась высшим законом в стране, который не позволял возникнуть никаким другим притязанием. Так, например, право знаменитого законотворчества Хаммурапи полностью копирует божественное право, которое открывается людям в священных заповедях и вследствие своего происхождения недоступно для человеческого сомнений.

Но и правовые понятия, которые находят отражение в законотворчестве самодержца, не происходят просто из произвола деспота; они опираются на старые обычаи и традиционные привычки, которые в течение столетий утвердились в сознании людей, и являются результатом их общественного взаимодействия. Так и законы Хаммурапи не являются исключением из этого правила, ибо все практические, происходящие из социальной жизни основы вавилонского права уже были признаны в народе задолго до того, как Хаммурапи положил конец власти эламитян в стране и заложил основы единой монархии завоеванием Ларсы и Джамутабаля.

Именно тут и показывается двойственный характер закона, который нельзя отрицать даже при самых благоприятных условиях. С одной стороны, закон приводит старые обычаи, которые издавна соблюдались в народе как привычное право, определённую форму; с другой – он придаёт привилегиям высших каст в обществе легальный вид, который должен скрывать их низкое происхождение. Только если серьёзно заниматься этой очевидной мистификацией, можно понять глубокую уверенность людей в священности законов; она льстит их чувству справедливости и утверждает в то же время их зависимость от высокой власти.

Особенно ясно эта двойственность проявляется, когда фаза абсолютного деспотизма уже преодолена и общество более или менее участвует в создании права. Все великие бои в лоне общества были борьбой за право, в которых люди постоянно пытались запечатлеть свои новые права и свободы в законах государства, что, необходимо, должно было привести к новым недостаткам и разочарованиям. Благодаря этому факту, всякая борьба за право переходила в борьбу за власть, которая делала из вчерашних революционеров сегодняшних реакционеров. Ибо это не в форме власти, а в ней самой коренится зло. Каждая как угодно оформленная власть имеет интерес в том, чтобы сократить до минимума права общества, чтобы утвердить своё собственное существование. С другой стороны, общество стремится постоянно, расширять свои права и свободы, чего оно пытается достичь, ограничивая государственные полномочия. Это особенно хорошо проявляется в революционные периоды, когда люди исполнены желанием новых форм общественной культуры.

Так, спор между государством и обществом, властью и культурой можно сравнить с колебаниями маятника, чья ось движется по прямой таким образом, что она всё более отдаляется от одного из полюсов – от авторитета – и медленно приближается к другому полюсу – к свободе. И т.к. некогда было время, когда власть и право были одним, мы, вероятно, движемся к эпохе, когда всякая конструкция власти исчезнет и право уступит место справедливости, свободы – уступят место свободе.

Всякий пересмотр права посредством присвоения новых или расширения уже существующих прав и свобод всегда исходит от народа и никогда от государства. Все свободы, которыми мы сегодня наслаждаемся в более или менее ограниченном виде, достались народу не по доброй воле или от особого снисхождения правителей. Напротив: носители общественной власти не

оставляли ни одного средства неиспробованным, чтобы подавить возникновение нового права или сделать его бездейственным. Великие массовые движения, даже целые революции были нужны, чтобы отвоевать у представителей власти каждую маломальскую уступку, на которую они бы добровольно никогда не согласились.

Поэтому, это является полнейшим непониманием общественных фактов, когда чрезмерный радикализм утверждает, что политические права и свободы, которые записаны в конституциях отдельных государств, уже посему не имели бы никакого значения, т.к. они были подтверждены самим правительством и законно сформулированы. Не потому, что носители власти симпатизировали этим правам, они их подтвердили, а потому что они были вынуждены к этому внешней силой, т.к. духовная культура времени где-то взорвала политические рамки и власти были вынуждены подчиниться фактам, которые они на тот момент не могли стусевать.

Политические права и свободы никогда не даются в законодательных учреждениях, но последних к этому вынуждают. Но даже их законное признание ещё не гарантирует уверенности в том, что они будут долговечны. Правительства постоянно стремятся ограничить существующие права или совсем их отменить, если считают, что не натолкнутся на сопротивление. Само собой, такие попытки сулили некоторым носителям власти смерть, когда они не могли верно оценить противника или выбрать подходящее время. Карл Первый должен был заплатить жизнью за такую попытку (очевидно, имеется в виду король Англии и Ирландии, 1600-1649, нападавший на свободу вероисповедания и нежелавший подчиняться конституции, был казнён восставшими офицерами армии и казнён за измену родине – прим. перев.), другие – лишением власти. Но это никогда не мешало делать новые попытки в этом направлении. Даже в таких странах, где определённые права, как, например, свобода прессы, право свободных собраний и коалиций уже десятилетия как укоренились в привычках народа, правительства пользуются каждым удобным случаем, чтобы эти права ограничить или придать им другое толкование с помощью юридических хитростей. Англия и Америка преподносят нам в некотором смысле урок, над которым следовало бы задуматься. От знаменитой Веймарской конституции немцев, которая в один дождливый день была лишена силы, и вообще говорить не стоит.

Права и свободы существуют не потому, что они записаны на клочке бумаги; они действительны только тогда, когда они становятся непреодолимым желанием в народе, так сказать, входят в его кровь и плоть. Они будут пользоваться уважением ровно столько, пока в народе живёт это желание. Если этого не происходит, то не поможет никакая парламентская оппозиция и никакое пламенное обращение к конституции. Новейшая история Европы является тому подходящим примером.

Глава VI, «Реформация и новое государство»

Реформация и социальные народные движения Средневековья. Церковный раскол и княжеские интересы. Отношение Лютера к государству. Протестантство как помощник княжеского абсолютизма. Религия и государственные интересы. Дословность и внутреннее порабощение. Крестьянское восстание. Уиклиф и реформация в Англии. Движение гусситов, каликситов и таборитов. Война как источник деспотизма. Хельчицкий, противник церкви и государства. Протестантство в Швеции. Экспроприация церкви. Кальвинизм. Учение о предначертании. Террористический режим в Женеве. Протестантство и наука.

В реформационном движении стран Севера, отличающемся уже своим религиозным содержанием от Ренессанса латинских народов с его явным языческим окрасом, необходимо чётко различать две тенденции: народную революцию крестьян и низших слоёв городского населения и так называемый протестантизм, который как в Богемии, так и в Англии, как в Германии, так и в скандинавских странах стремился лишь к отделению церкви от государства и, прежде всего, к концентрации всей власти в руках государственных учреждений. Память о народной революции, утопленной в крови зарождавшимся протестантизмом и его княжескими и церковными представителями, была позже оклеветана и унижена победителями, как оно обычно и происходит; и поскольку в общепринятой историографии издавна успех и крах какого-либо дела служили важнейшими критериями, то не могло и быть иначе, чем в позднее в реформации не видели ничего, кроме движения самого протестантизма.

Революционные устремления масс были направлены не только против римского папизма, но и в куда большей мере – против общественного неравенства и привилегий богачей и власть имущих. Протагонисты народного движения воспринимали эти различия как насмешку над чистым учением Христа, основанном на равенстве всех людей. Даже когда церковь достигла наивысшего пика своего могущества, заветы народной церкви с её общинным образом жизни и духом братства ещё не совсем угасли в народе. Они продолжали существовать у гностиков и манихейцев первых столетий и в еретических сектах Средневековья, достигавших поразительного количества. Да и происхождение монастырей восходит к этим тенденциям. Из этого духа родился хилиазм, вера в грядущее тысячелетнее царство мира, свободы и общественного владения собственностью, нашедшая своё отражения в учениях Иоахима Флорского и Амальриха Бенского.

Эти традиции были живы у богомилов в Болгарии, Боснии и Сербии, а также у катарцев в латинских странах. Они разжигали мужество веры в вальденсах и еретических сектах Лангедока и наполняли гумилиатов и апостольских братьев Северной Италии внутренним светом. Мы обнаруживаем их у бегинь и бегардов во Фландрии, у анабаптистов Голландии и Швейцарии, у лоллардов в Англии. Они жили в революционных движениях Богемии и в заговорах немецких крестьян, объединившихся под символами крестьянского башмака и «Бедного Конрада» с целью преодолеть феодальный гнёт. И это был дух тех же традиций, который снизошёл на «цвикауских пророков» и придал столь мощный импульс революционным действиям Томаса Мюнцера.

Против некоторых из этих движений церковь при помощи мирских властителей организовывала целые крестовые походы, как, например, против богомилов и альбигойцев, из-за чего целые страны наполнялись на столетия пожарами и убийствами, погибали многие тысячи людей. Но эти жестокие преследования привели лишь к тому, что эти движения обосновались в других странах. Тысячи беженцев шли из страны в страну и разносили свои учения. То, что большинство еретических сект Средневековья поддерживали отношения

через границы, было безупречно подтверждено научными исследованиями. Такие отношения можно обнаружить между богомилами и некоторыми сектами в России и Северной Италии, между вальденсами и сектантами в Германии и Богемии, между анабаптистами Голландии, Англии, Германии и Швейцарии.

Целые крестьянские восстания в Северной Италии, Фландрии, Франции, Англии, Германии и Богемии с XIII по XVI века вдохновлялись этими движениями, они дают нам сегодня довольно ясное представление о чувствах и мышлении широких слоёв населения того времени. Однако тут можно говорить не о каком-то однородном движении, но о целом ряде движений, предшествовавших однородной Реформации и её начавших. Известная сатирическая песенка английских лоллардов: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, где был аристократ?» – могла бы служить девизом большинству этих движений.

Истинное народное движение эпохи Реформации не искало союзов с князьями и аристократами, т.к. его протагонисты инстинктивно почувствовали в оных непримиримых врагов простого народа и были намерены сражаться не вместе с ними, а против них. Но поскольку большинство великих реформаторов, вроде Гуса, Уиклифа, Лютера и других, изначально принадлежали народным движениям, то и зарождающийся протестантизм был с самого начала тесно с ними связан. Но это быстро изменилось, когда общественные противоречия между обеими тенденциями начали становиться всё более явными и стало понятно, что широкие народные массы не готовы были удовлетвориться простым «Прочь от Рима!»

Отделение от римской церкви было желанным для князей северных стран, лишь пока оно не имело никаких иных последствий, а их политические и экономические привилегии оставались незатронутыми. Откол от Рима должен был не просто послужить их собственному авторитету, он препятствовал и вывозу из их стран значительных финансовых средств, которые могли пригодиться им дома куда больше; кроме того, он давал им возможность наложить лапы на церковное имущество и перенаправить прибыли в свои собственные кассы. Вот такие размышления и заставили северных князей встать на сторону Реформации. Мелочные склоки теологов их практически не интересовали, но отделение от Рима давало им вполне ощутимые преимущества, отрицать которые было невозможно. Так что, было весьма выгодным прислушаться к «голосу совести» и заступиться за новых пророков. Кроме того, теологические предводители Реформации старались быть не особенно требовательными по отношению к благородным верующим, но тем более они пытались показать земным властителям посюсторонние выгоды своей затеи. Так, Гус обращался к ним на языке, который они понимали лучше прочих:

«О, вы верные короли, князья, властители и рыцари! Очнитесь от опасного сна, в который вас погрузили священники, и уничтожьте в пределах ваших владений симонитскую ересь... Не допустите, чтобы из ваших стран вывозились деньги вам во вред».

Духовные предводители протестантизма с самого начала обращались к властвующим кастам своих стран, чья поддержка казалась им необходимой для победы. Но т.к. они изначально старались не рассориться с угнетённым народом, то они пытались, пусть и безуспешно, примирить народные движения с эгоистическими устремлениями князей и аристократов. Но попытке этой было уже потому суждено остаться безуспешной, что общественные противоречия к тому времени зашли так далеко, что их нельзя было сгладить парой фальшивых компромиссов. Чем активнее реформаторы предлагали свою службу властителям, тем более они отдалялись от революционного движения народа и настраивали его против себя. Особенно ясно это видно в случае Лютера, обладавшего наименьшим общественным чутьём и бывшего столь умственно ограниченным, что он действительно был уверен в усмирении народного движения посредством основания новой церкви.

Подобно Гусу, Лютер ссылался на апостола Павла, чтобы доказать, что князья не подотчётны церкви, но призваны повелевать священниками и епископами. В своём воззвании «К христианской аристократии немецкой нации» он пытался доказать, что, согласно Писанию, вообще не должно быть сословия священников, а только священнический пост, занимать который мог любой человек, обладавший необходимыми навыками и доверием своей общины. Но из этого следовало, что у церкви нет права на власть и контроль над государством. По мнению Лютера, вся власть должна была сосредотачиваться в государстве, призванном самим Богом для защиты общественного порядка. В принципе, этим убеждением и исчерпывается всё политическое значение протестантизма.

Протестантизм освободил совесть людей из-под надзора римской церкви, но лишь затем, чтобы перепродать её государству. В этом и только в этом заключается протестантская миссия Мартина Лютера, называвшего себя «слугой Божиим», но бывшего не кем иным, как слугой государства и союзников. Лишь его собственная сервильность давала ему силу, чтобы предать народное дело немецким князьям вместе с ними заложить фундамент новой церкви, которая в молчаливом согласии с кожей и костями предалась государственной власти и проповедовала волю князей и землевладельцев как Божию волю. Лютер свёл религию с политикой, бросил живой дух в тюрьму слова и стал герольдом дословной премудрости, которая толковала откровение Христа в смысле государственного интереса, заставляла людей как клеймёных галерных рабов маршировать к райским воротам, дабы вознаградить их вечной жизнью за рабство на Земле.

Человек Средневековья ещё не был знаком с государством в собственном его смысле. Представление о некоей центральной власти, втискивающей всяческое общественное проявление жизни в определённые рамки и ведущее человека от колыбели до могилы на поводке власти, было ему чуждо. В его жизни обычай и естественная договорённость с соседями играли важнейшую роль. Его понятие о праве опиралось на привычку, к которой его приобщала традиция. Его религиозное сознание понимало несовершенство всех человеческих учреждений, почему он был склонен разбираться в своих делах сам и строить свои отношения с другими людьми так, как это соответствовало его актуальным потребностям и старинным обычаям взаимного договора. И когда зарождающееся государство начало вмешиваться в правовые отношения, человек сделал своё дело делом Бога и стал сражаться против причинённой ему несправедливости. В этом, собственно, заключается весь смысл великих народных движений эпохи Реформации, стремившихся придать «свободе некогда евангельского человека-христианина», как это сформулировал Лютер, общественное содержание.

Лишь когда народное движение было утоплено в море крови князьями и землевладельцами, когда «верный божий человек» Лютер благословлял палачей взбунтовавшихся крестьян, победоносное протестантство подняло голову и осватило государство с его законным порядком, заплатить за который пришлось грандиозной кровавой бойней 130 тысяч человек. Так произошло «примирение религии с правом», как потом выразился Гегель. Новая теология стала ходить в школу к юристам, буквенная премудрость закона убила совесть или изобрела ей эффективную замену. Трон превратился в алтарь, на котором людей приносили в жертву новому идолу. Позитивное право стало божественным откровением, само государство — представителем Бога на Земле.

В прочих странах протестантизм преследовал те же цели; он повсюду предал народные движения и сделал Реформацию делом князей и привилегированных слоёв общества. Движение, начатое Уиклифом в Англии и перекинувшееся на другие страны, в особенности на Богемию, носило поначалу чисто политический характер. Уиклиф боролся с Папой, т.к. тот встал на сторону Франции, заклятого врага Англии, и потребовал от английского правительства, чтобы король и далее продолжал именовать себя «вассалом Великого престола» и продолжал платить ему дань, как это делал Джон Первый по отношению к Папе

Иннокентию Третьему. Но те времена прошли. После того, как французский король Филипп Прекрасный не покорился приказу Бонифация Восьмого и вынудил его наследника основать резиденцию в Авиньоне, неограниченная власть Пап претерпела тяжкий урон, от которого она больше не оправилась. Посему и английский парламент смог отважиться отвергнуть требования Папы на том основании, что ни у какого короля нет права уступать суверенность своей страны Папе.

Сначала Уиклиф защищал полную независимость мирской власти от церкви и лишь тогда перешёл к критике религиозных догматов, когда пришёл к убеждению, что вопрос этот без открытого разрыва с папизмом разрешить нельзя. Но после того, как в Англии разразилось крупное крестьянское восстание и крестьянские армии под предводительством Уота Тайлера и Джона Болла стали существенно угрожать правительству и королю, противники Уиклифа воспользовались ситуацией, чтобы выставить против него обвинения на суде. Уиклиф объявил, что не одобряет поступки бунтующих крестьян, но сделал он это с такой кротостью и пониманием страданий бедняков, которая значительно отличается от той ярости берсерка, с которой Лютер в своём знаменитом сочинении «Против разбойничающих и убивающих крестьян» подстрекал немецких князей и землевладельцев на безжалостное уничтожение крестьян.

Когда Генрих Восьмой позднее пошёл на разрыв с папской церковью и конфисковал её владения, он сделал сам себя главой новой государственной церкви, которая полностью подчинялась приказам мирской власти. То, что тот же самый Генрих ранее писал обвинительные письма против Лютера, чтобы самому защищать национальные интересы против папства, служит лишь доказательством тому, что и в Англии земные выгоды обладали для представителей аристократии большей привлекательностью, чем «чистое Божье слово» нового учения.

В Богемии, где общая ситуация и без того была напряжённой ввиду национального конфликта между чехами и немцами, Реформация обрела своё невероятно интенсивное выражение. Собственно гуситское движение появилось в Богемии только после сожжения Яна Гуса и Иеронима Пражского.

То, что раньше проповедовал Гус, было, в общем и целом, мыслями Уиклифа, которые пражский реформатор перевёл на язык своих соотечественников. Как и Уиклиф, Гус выступал за освобождение мирской власти от всяческого попечительства церкви. Церковь должна была заниматься только душевным благополучием людей и держаться подальше от всякого властного поста. Из «двух китов», как Пётр Хельчицкий называл церковь и государство, Гус намеревался отдать все права на мирские дела только государству. Церковь должна была быть бедной, отказаться от всяческих земных богатств, священники — подлежать мирскому правосудию как и все прочие подданные. Кроме того, сан священника должен был быть доступен и мирянам, если они, конечно, подходили для этого в силу своих моральных качеств. Ещё Гус порицал моральное разложение в среде священников и с особым жаром критиковал торговлю индульгенциями, с особым бесстыдством ведущуюся как раз в то время в Богемии. Помимо этих чисто политических требований, которые тут нас и интересуют и которые, как известно, нашли в среде аристократов значительный отклик, Гус выдвинул ещё целый ряд теологических требований, направленных против исповеди, нищенствующих монашеских орденов, учения о чистилище и прочего. Но симпатии чешского населения ему принесло, в основном, учение о том, что не обязательно отдавать десятину; но прежде всего это было строго националистическое отношение к немцам, которые, как считалось у чехов, портили страну.

Каликстинцы или утраквисты гуситского движения, к которому принадлежали, в основном, аристократы и зажиточные пражские горожане, охотно удовлетворились бы воплощением этих требований и некоторых скромных социальных реформ в жизнь, ведь заинтересованы они были, в первую очередь, в огромных богатствах церкви и в мире и спокойствии в стране.

Но собственно народное движение, большая часть участников которого происходила из крестьянства и бедных слоёв городского населения, стремилась пойти дальше и требовала, в особенности, освобождения крестьян из крепостничества, тяжко довлевшего над провинцией. Карл Четвёртый должен был запретить аристократам при малейшей провинности выкалывать своим крепостным глаза и отрубать им конечности. Движение так называемых таборитов охватывало, прежде всего, демократические элементы в народе, от коммунистов до хилиастов, и было настроено на решительную борьбу.

То, что между этими двумя основными течениями гуситства рано или поздно должно было прийти до насильственных столкновений, было неизбежным и было отсрочено лишь общими политическими событиями в стране. Собственно, когда немецкий кайзер Сигизмунд после внезапной кончины своего брата Венцеля унаследовал от него богемскую корону, вся страна пришла в невероятное возбуждение; ибо благодаря не сдержанному кайзером обещанию Гусу пришлось погибнуть на костре; с тех пор Сигизмунд считался в Богемии самым главным врагом всех реформационных тенденций. Вскоре после восхождения на трон в марте 1402 года Папа Марген в особой булле потребовал от всего христианского мира крестного похода против Богемии, и армия из 150 тысяч человек со всех концов Европы отправилась в поход против гуситов. Теперь восстание разгорелось по всей стране самым настоящим пожаром. Каликстинцы и табориты, подвергаясь одной и той же непосредственной опасности, временно прекратили внутренние распри и быстро объединились для совместной обороны. Под предводительством престарелого Жижки, опытного воина, первая армия крестоносцев была разбита наголову. Но борьба на этом не закончилась, Папа и кайзер продолжили нападения на богемскую ересь; так, началась одна из самых кровавых войн, которую обе стороны вели с невероятной ожесточённостью. После того, как гуситы изгнали врага из своей страны, они перенесли войну на соседние государства, опустошали города и деревни и стали благодаря своей непоколебимой смелости настоящим устрашением для своих врагов.

Двенадцать лет продлилось это ужасающее кровопролитие, пока гуситы и не разбили и не обратили в бегство последнюю армию крестоносцев при Домажлице. Результатом начавшихся переговоров о мире, завершившихся на соборе в Базеле, был «Пражский Компактат», содержащий некоторые значительные компромиссы в вопросах веры в отношении гуситов, но прежде всего он постановил отказ церкви от церковного имущества, присвоенного чешской аристократией. Тем самым, война с внешним врагом подошла к концу, но лишь для того, чтобы уступить место войне внутри движения. Во время коротких передышек, которые иногда позволяла гуситам война против Папы и немецкого кайзера, противоречия между каликстинцами и таборитами разгорались по новой и постоянно приводили к новым кровавым столкновениям, посредством которых права аристократии были в значительной мере ограничены её сильным противником. Поэтому каликстинцы периодически пытались начать переговоры с Папой и кайзером; так, разумеется, оставалось недолго ждать, пока после мирного договора, в заключении которого они участвовали наиболее активно, их не поддержали в борьбе против таборитов их бывшие злейшие враги. В мае 1434 года оба лагеря столкнулись в жесточайшей битве при Липанах, в которой погибло около 13 тысяч таборитов, а их армия была почти полностью уничтожена.

Тем самым, было окончательно разбито и народное движение, и начались трудные времена для простого народа в деревне и в городе. Уже тогда стало ясно, что революционное народное движение, если оно по чужой или собственной вине ввязывается в долгую войну, вынуждено отказываться от своих первоначальных устремлений, т.к. требования войны полностью подчиняют себе все силы и таким образом делают невозможным любое творческое развитие новых общественных форм. Не только потому, что война в целом разрушительно влияет на природу человека, когда она постоянно вызывает к его самым жестоким и разрушительным инстинктам, армейская дисциплина, которой требует война, душает всякое свободолюбивое движение в народе и систематически воспитывает тот дух падального подчинения, испокон веков являвшегося отцом всяческой реакции.

Это пришлось познать и таборитам. Если их противники, профессора Пражского университета, обвиняли их в том, что они стремятся к такому общественному состоянию, «в котором нет ни короля, ни властителя, не одного единственного слуги на Земле, все подати и налоги прекратились, никто никого ни к чему не принуждает и все живут, как равные братья и сёстры», то вскоре стало заметно, что война всё более отдаляет их от этого идеала. Военные предводители не только подавляли все вольные течения внутри движения при помощи жестокого насилия, национальный дух, населявший их и накалившийся в ходе всех этих ужасных войн добела, отчуждал их всё более и более от любых чисто человеческих идей, без которых не может существовать ни одно истинно революционное движение. Как только люди привыкают к тому, что все проблемы общества решаются вооружённой рукой, до деспотизма остаётся не так далеко, пусть даже ему даётся другое имя, а его настоящая сущность прячется под какой-нибудь хитрой вывеской. Так с Табором и случилось. Иго несвободы всё тяжелее лежало на его жителях и умерщвляло некогда населявший их дух. Так проникновенно описывал Пётр Хельчицкий, предтеча Толстого и один из, по крайней мере, внутренне свободных людей той эпохи, отвергавший как церковь, так и государство, это ужасное состояние, ввергнувшее целую страну в нескончаемую войну:

«...вот поселяется некто в пещере вместе с ворами и занимается насилием, грабежом и убийством, считается при этом постоянно слугой Господа и меч носит неспроста. Но правда такова, что носит он его не просто так, а для всяческой несправедливости, насилия, грабежа и угнетения работающих бедняков. Тем самым эти господа разделили народ на части и натравили друг на друга, и всякий направляет своих людей, подобно стадам, на битву против других. Так, эти господа уже отправили всех крестьян на убийство тем, что они всегда при оружии, постоянно готовы к битве. От этого вся братская любовь пронизывается жаждой крови, чтобы в этом напряжении борьба давалась легко и получалось много убийств».

Совершенно особый характер Реформация приобрела в Швеции, где протестантизм просто был привит народу сверху молодой династией, основанной Густавом Вазой, причём просто ввиду обычного политического расчёта. Ибо ни в коем случае не святость нового Божьего учения подвигала Густава Первого на разрыв с Римом; это были трезвые внешнеполитические размышления вкупе с вполне однозначными экономическими выгодами, которые заставили его сделать этот шаг. Грубая ошибка папского штаба значительно этот шаг ему облегчила.

Вскоре после восхождения на трон король обратился к Папе с весьма верноподданническим письмом и попросил назначить новых епископов в Швецию, которые должны «заботиться о праве церкви, не вмешиваясь в дела короны». Более всего Густав желал, чтобы Папа утвердил назначенного королём первосвященника Йоханниса Магни на посту архиепископа Упсалы, предшественник которого, Густавус Тролле фом Риксдаг, считался предателем, т.к. призвал в страну датского короля Кристиана Второго, чтобы сместить регента Стена Стуре. Густав пообещал Папе «остаться верным сыном церкви», и посчитал, что может положиться на то, что Ватикан удовлетворит его просьбу. Вот только Папа, посоветовавшись со своими помощниками, решил, что правление Густава не будет долгим, и с непреклонной строгостью потребовал возвращения на службу Густавуса Тролле. Жребий был брошен. Король не мог на это пойти, даже если ему и хотелось избежать открытого разрыва отношений с Римом. Хотя большинство шведского населения и было католическим и слышать ничего не хотело о Лютере, но терпеть власть датского короля в стране вольным шведским крестьянам хотелось ещё меньше. Кровавая тирания деспотичного Кристиана Второго была тому достаточной причиной. Так, король смог решиться на то, чтобы пойти на разрыв с папизмом, которого он в тайне так желал. Но хотя Швеция и отделилась от Священного престола, богослужение осталось тем же, а король с тех пор отдавал предпочтение протестантским проповедникам.

Но Густав стремился, в первую очередь, под любым предлогом присвоить себе имущество церкви, которая в Швеции была очень богатой. После нескольких осторожных попыток, натолкнувшись на сопротивление некоторых его епископов, он наконец-то сбросил маску нейтральности и выступил открытым врагом римской церкви, дабы претворить свои политические планы в жизнь. Так, в 1526 году он закрыл все католические издательства в стране и присвоил себе два трети доходов церкви, чтобы погасить государственный долг. Но он не отважился пойти на такой шаг самостоятельно; ему пришлось отдать значительную часть церковных земель своим феодалам, чтобы заручиться их дружбой, т.к. крестьяне были настроены решительно против так называемой церковной реформы и осуждали разграбление имущества церкви.

Эти враждебные настроения среди простого населения вновь поставили молодую династию в щекотливое положение. Шведские крестьяне, не знавшие в Средние века крепостного права, обладали значительным влиянием в стране. Они и сделали Густава Вазу королём, чтобы положить конец интригам датской партии. Но теперь, когда король пытался, принудить страну к новой вере, а кроме того, ещё и облагал крестьян огромными налогами, часто стали происходить столкновения между короной и крестьянским населением. С 1526 по 1543 годы Густаву пришлось отбиваться от не менее шести крестьянских восстаний, которые хоть и не увенчались успехом, но привели к тому, что королю приходилось умерять свои периодически разгоравшиеся абсолютистские аппетиты.

Густав Ваза отлично понимал, что жизнь и смерть его династии напрямую зависит от протестантизма. Разграблением церковного имущества и публичной казнью двух нелояльных католических епископов в Стокгольме он сжёг за собой все мосты и должен был идти по избранному пути дальше. Посему в завещании он увещевал своих наследников оставаться верными новой вере, т.к. только тогда династия сможет оставаться у власти.

Сколь мало народ симпатизировал лютеранству, становится видно уже из того, как часто крестьяне грозилась пойти на Стокгольм, чтобы стереть с лица Земли этот «духовный Содом», как они называли столицу из-за её протестантских устремлений. Между королём и верховными священниками тоже разгорались ожесточённые конфликты из-за дальнейших конфискаций доходов церкви, пока Густав постепенно не упразднил последние права церковного самоуправления и не подчинил её государству полностью. Но то народное сопротивление, на которое наталкивался Густав Ваза со своими планами, заставлял его и его потомков всё более полагаться на аристократов. Они, однако, оказывали поддержку короне не бесплатно, поэтому королю приходилось всё более обязывать крестьян на службу землевладельцам, чтобы заручиться их союзничеством.

Так, протестантизм в Швеции с самого начала был делом правящей династии, планомерно насаждавшей его в народе. То, что Густав Ваза обратился в протестантизм благодаря некоему внутреннему убеждению, является такой же сказкой как и утверждение, что и его потомок Густав Адольф против воли и скрепя сердце вторгся в Германию, чтобы поддержать своих братьев по вере. Ради такой цели ни сам «снежный король, как называли его его враги, ни его премудрый канцлер Оксенстирна не дали бы и ломаного гроша. То, к чему они стремились, было неограниченной властью на побережье Балтийского моря, и ради этой цели они готовы были воспользоваться любой святой ложью.

Повсюду, где протестантизм получал хоть какое-либо влияние, он всегда оказывался верным слугой зарождающегося абсолютизма и передавал государству все права, который отбирал у римской церкви. Кальвинизм, боровшийся с абсолютизмом во Франции, Голландии и Англии, не является исключением из этого правила, т.к. по своей сути он был ещё более несвободным, чем прочие течения протестантизма. Если он и восставал против абсолютизма в этих странах, то только по причинам, объяснявшимся особенностями тех обществ. По сути же он был невыносимо деспотичен, т.к. вторгался в судьбу человека более, чем когда-либо пыталась римская церковь. Никакое иное учение не оказывало на личную жизнь

каждого отдельного человеческого существа такого глубокого и долгосрочного влияния, ведь «внутренние перемены» были одним из самых важных пунктов учения Кальвина. И он «изменял» людей так долго, пока от их человечности не оставалось ничего.

Кальвин был одной из самых ужасающих личностей в истории, протестантский Торквемада и алчный фанатик, готовивший людей пытками и колесованием к вхождению в царство Господне. Подлый и хитрый, лишённый всякого глубокого чувства, как самый настоящий инквизитор он судил людские слабости и установил в Женеве настоящий террористический режим. Ни один Папа не обладал такой полнотой власти. Церковные порядки регулировали жизнь людей от рождения до самой смерти и заставляли их на каждом шагу чувствовать, что жизнь их отягчена первородным грехом, который в мутном свете кальвинистского учения о предначертании приобретал особенно мрачный характер. Любая радость в жизни презиралась. Вся страна должна была походить на келью послушника, в которой дозволялись лишь осознание собственной вины и отчаяние. Танцы и музыка запрещались даже на свадьбах; в городских театрах разрешались только драмы религиозного содержания. Невыносимая цензура заботилась о том, чтобы не публиковалась никакая мирская литература, в особенности — романы. Целая армия шпионов наводнила маленькую страну и попирала любое домашнее и семейное право. Уши были даже у стен, ибо всякий верующий был вынужден постоянно похвалиться своей набожностью и постоянно склонялся к предательству. И в этом отношении политическая или религиозная *правоверность* всегда приводит к одним и тем же результатам.

Принятые у Кальвина наказания были чудовищны. Малейшее сомнение в догмах новой церкви, как только оно доходило до шпионских ушей, каралось смертью; зачастую для вынесения смертного приговора было достаточно простого подозрения — в особенности, когда подозреваемый по той или иной причине не нравился власти предрержащим. Целый ряд проступков, которые раньше карались короткими тюремными сроками, во время правления Кальвина наказывались палачом. Костры, виселицы и дыба в «протестантском Риме», как тогда именовалась Женева, были постоянно при деле. Хроники того времени рассказывают о невероятных мерзостях, к самым жутким среди них относятся казнь ребёнка и случай женевского палача Жана Гранжа, которому пришлось отрубить собственной матери правую руку, а затем сжечь её живьём, т.к. она якобы распространяла чуму по стране. Самой известной является казнь испанского врача Мигеля Сервета, которого в 1553 году подожарили на медленном огне за то, что он усомнился в учение о триединстве и о предначертании Кальвина. Трусливый и подлый способ, которым Кальвин казнил несчастного врача, представляет характер этого человека в жутком свете, его жестокий фанатизм кажется нам таким невероятным потому, что он был чудовищно трезв и коренился по ту сторону всяческого человеческого чувства.

Поскольку человеческая природа, не смотря ни на что, не даёт переделать себя просто так — она, в виде тайной страсти, тлеет под поверхностью и демонстрирует вовне то ничтожное притворство и то отвратительное лицемерие, столь типичные для протестантизма в целом и для пуританства Кальвина. Исторические исследования выявили, кроме того, что во время правления Кальвина моральное разложение и политическая нечистоплотность цвели буйным цветом и приняли доселе невиданный размах.

Часто Кальвина хвалят за то, что он воплотил демократические принципы в политическом управлении; при этом, однако, забывают, что Женева тогда была не каким-нибудь крупным монархическим государством, а небольшой республикой, и что реформатору уже только по этой причине приходилось идти на некоторые демократические компромиссы. Но, прежде всего, нужно обратить внимание, что в то фанатичное время, когда люди потеряли чувство всякого внутреннего равновесия и благоразумного действия, именно формальная демократия послужила Кальвину для укрепления своей власти, т.к. он мог выдавать её за волю народа.

На самом деле демократический наряд политики Кальвина был лишь обманчивым фасадом, который не может скрыть теократического характера этого государства.

Т.е. протестантизм ни в коем случае не был знаменем духовной независимости или «религии свободы совести», как его часто величают. В вопросах веры он был таким же нетерпимым и не менее склонным к жестоким преследованиям инакомыслящих, чем католичество, ведь он всего лишь сместил авторитет из религиозной области в область политическую и пробудил, тем самым, цезаропапизм к новой жизни. Во многих аспектах он был более черствосердечен и умственно ограничен, чем главные представители старой церкви, чей богатый опыт, духовная культура и знание человеческой природы у него полностью отсутствовали. Если его преследования повлекли меньше жертв, чем последовательная нетерпимость папской церкви, то это лишь потому, что область его действий была более тесной, и хотя бы уже поэтому он не мог сравниться с Римом.

К развивающейся науке протестантизм относился с такой же враждебностью, как и к католической церкви. Его внутреннее отвержение научного прогресса зачастую выражалось ещё более явно, т.к. мёртвая вера в буквы застилала его представителям глаза на всякую вольную мысль. Перевод Библии на различные национальные языки привёл к весьма своеобразному результату. Выдающиеся представители протестантизма считали Библию не книгой и даже не собранием книг, которые были придуманы и записаны людьми, они считали её Божьим откровением. По этой причине «священное Писание» было для них непогрешимым. Все события они оценивали согласно его содержанию и проклинали любое познание, не совпадавшее со словами Писания. Так, для приверженцев новой церкви слово стало всем, а дух — ничем. Они заключили разум в клетку мёртвого буквенного фетишизма и стали, таким образом, невосприимчивы ко всякому научному мышлению. Не зря Лютер называл разум «дьявольской блудницей». Его высказывание о Копернике служит наглядным примером протестантского образа мышления. Великого учёного он называл дураком и опровергал его картину мира тем, что в Библии сказано, мол, Иисус Навин приказал остановиться солнцу, а не земле.

Кстати, эта религиозная вера в букву является непосредственной предшественницей той, более поздней, политической веры в политические чудеса, которая клянётся буквой закона и привела к не менее роковым последствиям, чем слепая вера в «записанное Божье слово».

Эта духовная скованность, присущая самой сущности протестантизма, заставила гуманистов, поначалу радостно приветствовавших Реформацию в северных странах, затем от неё отвернуться, когда им стало ясно, сколько золотской жажды преследования и внутренней несвободы притаилось за фасадом этого движения. Ни нерешительность, ни преувеличенная боязливость не повлияли на их позицию; это было бескультурье и притуплённость восприятия, отчуждавшие представителей гуманизма от протестантских течений, но прежде всего — национальная ограниченность последних, посредством которой была разрушена та культурная связь, что ранее объединяла народы Европы.

Но, прежде всего, тут друг другу противостояли два образа мышления, у которых не могло быть никаких точек пересечения. Когда Эразм Роттердамский требовал от общественности назвать ему «мужей, сделавших при лютеранстве важные научные открытия», этот вопрос должен был показаться большинству его протестантских противников совершенно непонятным, т.к. они надеялись найти единственный путь познания на страницах Библии, а не в науке. Но, тем не менее, вопрос Эразма сделал явной всю ширину пропасти, лежащей между этими двумя тенденциями.

Глава XV, «Национализм как политическая религия»

Фашизм как последнее детище национальной идеологии. Его борьба против либеральных идей. Муссолини как противник государства. Его политическое преобразование. Джованни Джентиле, государственный философ фашизма. Национализм как воля к государству. Фашистская государственность и современный капитализм монополий. Современное экономическое варварство. Государство как разрушитель общности. Свобода как средство общественной связанности. Конвейерное воспитание современных людей массы. Борьба против личности. Тоталитарное государство. Национализм как религия политического откровения. Упадок или расцвет?

Современный социализм, который нашёл в итальянском фашизме и немецком национал-социализме своё самое завершённое выражение, является смертельным врагом либерального мышления. Полнейшее уничтожение всяческой свободолобивой мысли есть для его носителей первейшее условие «расцвета нации». Причём в Германии, удивительным образом, сваливают в один котёл либерализм и марксизм – факт, который, однако, более не удивляет, когда знаешь, какое насилие причиняют глашатаи Третьего Рейха фактам, идеям и личностям. То, что марксизм, так же как и демократия с национализмом, в своих основах исходит от *коллективного представления*, собственно от *класса*, и уже по этой причине не может иметь родственных связей с либерализмом, не причиняло особых хлопот его верным Гитлеру противникам.

То, что этот современный национализм с его чрезвычайно заострённым государственным фанатизмом ничего не мог почерпнуть из либеральных идей, было ясно и так. Менее понятным было утверждение его ведущих умов, что сегодняшнее государство до самой сердцевины заражено либерализмом и по этой причине утратило свою былую властно-политическую значимость. Фактом остаётся, что политическое развитие последние сто пятьдесят лет шло не по тому пути, на который надеялся либерализм. От мысли, как можно больше ограничить функции государства и свести поле его деятельности к минимуму, воплотилось в реальность мало. Поле деятельности государства не было ограничено, более того, оно было значительно расширено и увеличено, а так называемые либеральные партии, которые со временем всё более угождали в фарватер демократии, интенсивно этому помогали. В действительности, государство не было *либерализовано*, оно было лишь *демократизовано*; этим его влияние на личную жизнь человека не уменьшилось, а ещё более увеличилось.

Было время, когда можно было придерживаться взглядов, что суверенность нации нельзя сравнивать с суверенитетом законного монарха, и поэтому она должна была ослабить позицию государства. Пока демократия ещё была вынуждена бороться за своё признание, этой мысли нельзя было отказать в определённой правоте. Но время это давно прошло. Ничто не укрепило внутреннюю и внешнюю безопасность государства как религиозная вера в суверенность нации, которая периодически торжественно санкционируется посредством всеобщего избирательного права. Неоспоримо то, что речь тут идёт о религиозном представлении политической природы. Даже Клеменсо, когда оказался одиоко и в огорчении он оказался в конце своего жизненного пути, высказывался в том же духе» *«Всеобщее избирательное право – это игрушка, которая вскоре надоедает. Но говорить этого вслух нельзя, т.к. народу нужна религия. Так оно и есть... Печально, но правда»* (Jean Mantel: Clemenceau spricht, Berlin 1930).

Либерализм был воплем человеческой личности против нивелирующих всё поползновений абсолютистского режима, позже – против ультрацентризма и слепой веры в государство якобинства и его различных демократических порождений. В этом смысле он был сконцепирован ещё Миллем, Баклом и Спенсером. Но даже Муссолини, враждовавший с либерализмом самым серьёзным образом, незадолго до своего обращения представлял идеи, которые были подслушаны у либерализма. Как, например, когда он писал: «Своей чудовищной бюрократической машиной государство вызывает у человека чувство удушья. Государство было сносно для отдельного человека, пока оно удовлетворялось ролью солдата и полицейского; но сегодня государство является всем – банкиром, сборщиком податей, владельцем игорных домов, корабельщиком, гравировщиком, страховым агентом, почтальоном, железнодорожником, предпринимателем, учителем, профессором, продавцом табака и ещё до бесконечности, помимо его ранних занятий в роли полицейского, судьи, тюремного надзирателя и сборщика налогов. Государство, этот мох с чудовищными чертами, сегодня видит всё, делает всё, контролирует всё и всё уничтожает. Всякая государственная функция – это несчастье. Несчастье – государственное искусство, государственное корабельное дело, государственное обеспечение продуктами питания – литанию можно петь вечно... Если бы у людей было хоть малейшее представление о той пропасти, к которой они приближаются, то количество самоубийств бы увеличилось: но мы идём навстречу полнейшему уничтожению человеческой личности. Государство является страшной машиной, которая заглатывает живых людей и выплёвывает их как мёртвые цифры. Человеческая жизнь больше не имеет секретов, никакой интимности, ни в материальном, ни в духовном; все углы проверяются, все движения измеряются, каждый заперт в своём ящике и пронумерован как в тюрьме» (Popolo d'Italia, 06.04.1920).

Это было написано за несколько лет до «марша на Рим». Новое откровение пришло к Муссолини довольно быстро, как и многое другое. И действительно, так называемое понимание государства в фашизме появилось только тогда, когда Дуче пришёл к власти. До того фашистское движение сияло всеми цветами радуги, как и национал-социализм в Германии в свою первую фазу. У него вообще не было единой формы. Его идеология была пёстрой мешаниной из отрывков идей всех возможных направлений. То, что давало ему наполнение, было жестокость методов, безоглядное стремление, которое уже потому не считалось ни с какими мнениями, потому что само не ими обладало. Что до сих пор недоставало государству до полнейшей тюрьмы, было дано ему фашистской диктатурой сверх меры. Либеральный вопль Муссолини тотчас умолк, когда диктатор стал уверен, что государственные средства власти надёжно находятся у него в руках. Если наблюдать быструю перемену настроений у Муссолини касательно значения государства, то произвольно вспоминается высказывание молодого Маркса: «Никто не борется со свободой, борются, в крайнем случае, со свободой других. Всякий род свободы существовал, поэтому, всегда, только один раз – как особая привилегия, в другой раз – как общее право».

В действительности, Муссолини сделал из свободы привилегию для себя и пришёл, тем самым, к жесточайшему угнетению всех остальных; ибо свобода, которая пытается заменить ответственность человека перед окружающими на бездушную заповедь власти, является наглым произволом, отрицанием всякой справедливости и человечности. Но и деспотизм требует оправдания перед народом, который он насилует. Из этой необходимости и было рождено новое понятие государства в фашизме.

На заседавшем в 1931 году в Берлине «Интернациональном гегельянском конгрессе», Джованни Джентиле, государственный философ фашистской Италии, развил своё понимание сущности государства, которое выливалось в представление о так называемом «государстве тотальности». Джентиле называл Гегеля первым и истинным основателем понятия государства, и сравнивал его государственную теорию с покоящимся на естественном праве и

взаимном договоре либеральным пониманием государства. Государство – так он утверждал – в этом представлении только граница, парад которой должна останавливаться естественная и непосредственная свобода отдельного человека, для того чтобы вообще было возможным нечто вроде социальной жизни. Для этого учения, таким образом, государство является только средством, для того чтобы улучшить неприемлемое состояние человечества в его естественных началах. Т.е. это учение – это нечто негативное, добродетель, родившаяся из нужды. Гегель опроверг это столетнее учение. Он первым рассматривал государство как высшую форму *объективного* духа, он первым понял, что только в государстве претворяется в жизнь настоящее этическое сознание. – Но Джентиле не удовлетворился этой похвалой гегельянского понимания государства, а попытался ещё и превзойти его. Он укорял Гегеля за то, что тот хотя и рассматривал государство как высшую форму объективного духа, но ставил над оным ещё и сферу абсолютного закона, так что искусство, религия и философия, которые по Гегелю принадлежат царству абсолютной духовности, должны были вступать с государством в определённые противоречия. Современная государственная теория, по мнению Джентиле, должна переработать эти противоречия, причём так, чтобы государством были освоены и ценности искусства, религии и философии. Только тогда можно мыслить государство как высшую форму человеческого духа вообще, который не покоится в обособлении, но соотносится с общей и вечной волей, с *высшей общностью*. (Мы следуем отчёту о конгрессе в Deutsche Allgemeine Zeitung, вечернему изданию от 21.10. 1931).

Ясно, на что была нацелена страсть фашистского государственного философа: если для Гегеля государство было богом на Земле, но Джентиле охотно предоставил бы ему место *вечного и единого бога*, который не терпит других богов рядом и над собой, и повелевает всеми областями человеческого ума и всеми человеческими делами без остатка. Это – последнее слово в развитии политической идеи, которая в абстрактном вознесении теряет из виду всё человеческое, и для которой отдельный человек представляет интерес, только когда его бросают как жертвоприношение в пылающие объятия ненасытного молоха. Современный национализм является только волей к государству любой ценой, полнейшим растворением человека в высших целях власти. И это как раз и показательно: национализм сегодня не порождён любовью к своей стране или к своей нации, он коренится в тщеславных планах охочего до диктатуры меньшинства, решившего дать народу определённую форму правления, даже если это и противоречит воле большинства. Слепая вера в чудодейственные силы *национальной диктатуры* должна заменить у человека любовь к Родине, чувство духовной культуры своего времени; любовь к окружающим перемалывается *величием государства*, которому люди должны служить пищей.

В этом различие между национализмом былых времён, который нашёл своих носителей в мужах вроде Мадзини и Гарибальди, и откровенно контрреволюционными устремлениями современного фашизма, который и по сей день ещё далеко не преодолен. В своём знаменитом манифесте от 6-ого июня 1862 года Мадзини боролся с правительством Виктора Эммануэля и обвинял её в предательстве и контрреволюционных помыслах против единства Италии, при этом он подчёркивал различие между нацией и существующим государством. Его лозунг «Бог и народ» - думать о нём можно различно – должен был объявить миру, что идеи, которые он преследовал, происходили из народа и были им одобрены. Учение Мадзини, бесспорно, так же несло в себе семена нового рабства, но он действовал из достойных побуждений и не мог предвидеть отдалённых исторических последствий своих национал-демократических устремлений. Насколько честно он был им предан, видно наиболее ясно на примере противоречия между ним и Кавуром, который понял властнополитическое значение национализма и именно по этой причине принципиально отвергал «*политический романтизм*» Мадзини, т.к. тот, как говорил Кавур, «*за восхвалениями свободы не видел государства*».

Установлено, что патриоты того времени удерживали расстояние между государством и национальными устремлениями народа. Эта позиция, бесспорно, происходила от неверного понимания общественных фактов, и всё же это именно та логическая ошибка, которая делает мужей «молодой Европы» нам ближе человечески, ибо никто не сможет отрицать их честной любви к народу. Национал-социализму сегодня такая любовь совершенно чужда, и чем чаще его представители о ней говорят, то тем более чувствуется фальшивая нота и становится заметно, что за этим не стоит настоящего чувства. Сегодняшний национализм заклинает только государство и клеймит собственных соотечественников как изменников Родины, если они противостоят политическим целям национальной диктатуры или хотя бы отрицательно относятся к её планам.

Влияние либеральных идей в прошлом столетии, тем не менее, повлек за собой то, что даже консервативные элементы пришли к заключению, что государство существует ради граждан. Фашизм же объявил с жестокой откровенностью, что цель отдельного человека исчерпывается тем, чтобы быть употребленным государством. *«Всё для государства, ничего против государства!»* как это сформулировал Муссолини: это последнее слово национальной метафизики, которая приняла в современных фашистских движениях пугающе осязаемую форму. Если раньше это всегда было сокрытым смыслом всех национальных теорий, то теперь это стало их ясно выраженной целью. Чётко обрисовать эту цель – вот единственная заслуга её представителей, которые в Италии и, особенно, в Германии только потому окружены такой заботой и щедрой поддержкой носителей капиталистической экономики, потому что они пошли навстречу новому монопольному капитализму и посылно помогали воплощать его планы по учреждению системы индустриального рабства.

Т.к. вместе с основами политического либерализма нужно было вывести из обращения и идеи либерализма экономического. Как пытается сегодня политический фашизм донести до людей новую благую весть, что они только настолько могут претендовать на право жить, насколько они служат топливом для государства, так пытается и современный экономический фашизм показать миру, что экономика существует не ради человека, а человек ради экономики, и он служит просто цели, быть её использованным. И если фашизм именно в Германии принял самые страшные и бесчеловечные формы, то причиной этому не в последнюю очередь то, что варварские идеи немецких экономистов и оголтелых индустриалистов, так сказать, уже продумали за него дорогу. Немецкие лидеры экономики с мировым именем как Хуго Штиннес, Фриц Тюссен, Эрнст фон Борсиг и некоторые другие постоянно доказывали жестокой чистосердечностью своих мыслей, в какие глубины холодной мизантропии может зайти человеческий ум, когда он лишается всякого общественного чувства, и он считается с живыми людьми только как с мёртвыми цифрами. И в мире германских учёных постоянно находились «непредвзятые умы», которые были готовы дать самым чудовищным и человеконенавистническим теориям «научное основание».

Так, профессор Карл Шребер из Технического университета Аахен объявил, что *современному рабочему вполне соответствует уровень жизни доисторического неандертальца, и что для него вообще не встаёт вопроса о позитивном развитии.* Подобными идеями оперировал и профессор Эрнст Хорнэффер из университета Гиссен, который часто устраивал гастроли на заседаниях немецких предпринимателей и на одном из этих заседаний заявил следующее:

«Опасность социального движения может быть сломлена только тем, что произойдёт разделение масс. Ибо все места за столом жизни заняты до последнего, и поэтому экономика не может предложить своим работниками больше, чем голое существование. Это – непререкаемый закон жизни. Посему и всякая социальная политика является беспримерной глупостью».

Господин Хорнэффер позднее основательно изложил своё дружелюбное учение в особом труде «Социализм и агония германской экономики», где пришёл к следующим выводам: *«Я утверждаю, что экономическое положение рабочих нельзя принципиально, в сущности, вообще нельзя изменить, что рабочие должны раз и навсегда удовлетвориться этим своим экономическим положением, т.е. зарплатой, которой едва хватает на жизнь, на которую можно позаботиться лишь о самом необходимом в жизни; что принципиально изменение их экономического положения, поднятие на существенно иной уровень экономических условий никогда не может произойти, что это желание навсегда останется неисполнимым».*

На замечание, что при таких условиях может случиться и так, что зарплаты не хватит и для удовлетворения необходимейших потребностей, учёный профессор ответил с завидным спокойствием, что в этом случае должна помочь общественная благотворительность, и если не хватит и её, то тогда должно будет вмешаться государство как носитель народной морали. Доктор Ф. Гизе из Технического университета Штутгарт, который особенно рьяно занимался рационализацией экономики «научными методами», перешагнул через досрочное исключение сегодняшнего рабочего из профессиональной деятельности со скупыми словами:

«Управление предприятием может узреть в этом простой биологический закон, что сегодня производительная способность человека истощается в конкурентной борьбе уже в юные годы. В Америке принято красить волосы, но мы не можем не узнать в этом естественное развитие вещей, относительно которого сострадание и терпение, возможно, были самыми худшими техниками обращения с людьми на предприятии».

Выражение «техника обращения с людьми» особенно глубоко и показывает с пугающей ясностью, в какие гиблые места нас уже завёл капиталистический индустриализм. Когда читаешь такие излияния как вышеприведённые, но понимаешь глубинное значение того, что Бакунин сказал о перспективах правительства чистых учёных. Последствия такого эксперимента были бы, в действительности, непредставимы.

То, что сегодня столь же пустая, сколь и опасная умственная гимнастика может открыто выдавать себя за научное изыскание, служит доказательством асоциального духа нашего времени, которое посредством доведённой до крайности системы массовой эксплуатации и слепой веры в государственность систематически нарушает все естественные отношения между людьми и вырывает насильно отдельные личности из круга общества, в котором они были душевно укоренены. Т.к. утверждение фашизма, что либерализм и воплощённое в нём стремление человека к свободе атомизировало и разделило общество на составляющие, в то время как государство охватывало человеческие группировки, так сказать, защищающими рамками и тем самым предотвращало распадение общества, наглая ложь и в лучшем случае покоится на жестоком самообмане.

Не потребность в свободе атомизировала общество и разбудила в человеке асоциальные инстинкты, а возмутительное неравенство экономических условий и, прежде всего, государство, которое взрастило монополии, подобно гниющей раковой опухоли разрушило хрупкую ткань общественных отношений. Если бы общественный инстинкт человека не был естественным, который он получил в наследство от древних предков на границе становления человеком и с тех пор непрерывно развивал и расширял его, то и государство не было бы в состоянии соединить людей в тесный союз. Ибо общества не создаются тем, что элементы, которые друг другу противоречат, насильственно прикрепляются друг к другу. Разумеется, можно человека заставить выполнять определённые обязанности, пока для этого есть нужные средства, но его никогда не заставить исполнять принуждаемое с любовью и по внутреннему побуждению. Есть вещи, к которым государство не может принудить, какой бы силой оно не

обладало – к таким принадлежат, прежде всего, *чувство социальной связи и внутренние отношения между людьми.*

Принуждение не связывает, принуждение только расторгает людей, т.к. ему недостаёт внутреннего мотора всех социальных связей: разума, познающего вещи, и души, охватывающей чувства окружающих людей, т.к. она чувствует себя им родственной. Тем, что людей подвергают тому же принуждению, их ближе друг другу не сделать; наоборот, можно создать между ними только отчуждение и возвращает инстинкты эгоизма и обособления. Социальные связи только тогда долговечны и исполняют своё предназначение по полной, когда они основываются на добровольности и порождаются собственными потребностями людей. Только при таких условиях возможны отношения, где социальная взаимосвязь и личная свобода отдельного существа так тесно связаны друг с другом, что их больше нельзя друг от друга отличить.

Как во всякой религии откровения отдельная личность должна сама для себя зарабатывать обещанное царствие господне, не особенно заботясь о спасении других, т.к. и со своим намучаешься, так каждый человек в государстве пытается приспособиться к нему насколько можно, не ломая голову над тем, насколько это удаётся остальным. Это государство, которое принципиально подрывает социальное чувство человека тем, что оно выступает посредником во всех вопросах и пытается каждого подвести к одной и той же норме, которая для носителей государства служит мерилем всех вещей. Чем легче государство перешагивает через личные потребности своих граждан, тем глубже и безоглядней оно вторгается в их личную жизнь и попирает их личные права, тем успешнее оно умерщвляет в них чувство социальной взаимосвязанности, тем легче оно может разделить общество на составляющие части и встроить их как мёртвый придаток в политический механизм машины.

Техника сегодня занята конструированием *механического человека* и уже достигла весьма солидных успехов на этом поприще. Уже есть автоматы в форме человека, которые двигаются туда и сюда на железных конечностях, выполняют определённые работы, зарабатывают деньги и делают кое-что ещё. Есть что-то жуткое в этом изобретении, имитирующем человеческое мышление и всё же являющимся замаскированным часовым механизмом, беспрекословно выполняющим волю своих хозяев. Но, кажется, что механический человек является не просто диким изобретением современной техники. Если народы европейско-американского круга культуры в обозримом будущем не найдут дороги назад к своим лучшим традициям, то возможна опасность, что мы маршируем гигантскими шагами навстречу эре механического человека.

Современный *массовый человек*, этот лишённый корней попутчик современной техники в эпоху капитализма, движимый практически только уже внешними воздействиями и возбуждаемый и успокаиваемый всеми настроениями момента, т.к. у него скукожилась душа и потерялось чувство равновесия, которое может настроиться только в истинном сообществе, уже достаточно похож на человека механического. Крупное капиталистическое предприятие, разделение труда, которое сегодня празднует высочайший триумф в системе Тэйлора и в так называемой рационализации индустрии, убогая казарменная дисциплина, которая методически прививается военнообязанному гражданину, в связке с современной дрессировкой образования и всем, что с этим связано – явления, чьи последствия нельзя недооценивать, если мы хотим разобраться в глубоких взаимосвязях современного состояния мира. Но современные национализм с его откровенной враждебностью к свободе и его бездушным, до крайности развитым милитаристским характером, есть только мост на пути к безмозглому и бездушному автоматизму, которое приведёт к уже объявленному «Закату Европы», если его вовремя не остановить. Но пока мы ещё не верим в столь сумрачное будущее; мы, более того, убеждены, что человечество и сегодня всё ещё носит в своём чреве

множество скрытых сил и творческих устремлений, которые делают его способным успешно преодолеть кошмарный кризис, угрожающий всей человеческой культуре.

То, что окружает нас сегодня со всех сторон, можно сравнить с диким хаосом, который даёт взойти всем семенам заката общества, и всё же в этом сумасшедшем вихре происходящего есть многочисленные зачатки нового становления, которое происходит вне путей партий и политической жизни и указывает в будущее полное надежды. Помочь раскрыться этим молодым зачаткам, ухаживать за ними, усиливать их, чтобы они не завяли раньше времени – это сегодня первейшая задача всякого борющегося человека, который убеждён в неприемлемости актуальных условий, и не даёт судьбу случаться в усталой капитуляции, а ищет новые берега, который обещают человечеству новый расцвет духовной и общественной культуры. Такой расцвет может произойти только под знаком свободы и общественной взаимосвязи, т.к. только из них может произрасти то глубокое и чистое стремление к новому состоянию социальной справедливости, которая находит своё выражение в солидарном взаимодействии людей и открывает путь новой общности. Носители фашистской и националистской реакции знают это наверняка; поэтому они ненавидят свободу как грех против святого духа нации, который есть лишь их собственный призрак.

«Люди устали от свободы - писал Муссолини – они отпраздновали с ней оргию. Свобода сегодня – больше не целомудренная и строгая дева, за которую сражались и умирали поколения первой половины прошедшего столетия. Для предприимчивой, беспокойной, грубой молодёжи, которая показалась на рассвете новой истории, есть другие ценности, производящие большие чудеса: порядок, иерархия, дисциплина. Нужно уяснить раз и навсегда, что фашизм не знает богов, не поклоняется фетишам. Он уже перешагнул через более или менее разложившееся тело богини Свободы, и если надо, он вернётся, чтобы перешагнуть ещё раз... Факты говорят о большем, чем книга, опыт – больше, чем доктрина, великий послевоенный опыт, тот, что сейчас раскрывается перед нашими глазами, указывает на поражение либерализма. В России и в Италии показано, что можно править вне, над и против всей либеральной идеологии. Коммунизм и фашизм стоят вне либерализма». (Фашистский журнал Gerarchia, напечатавший статью Муссолини „Forza e Consenso“, апрельский номер 1922).

Это ясно, даже если и выводы, которые он сделал из этих новых открытий, весьма спорны. То, что можно править «против всей либеральной идеологии» знали задолго до него, т.к. всякая власть насилия усваивала это правило. Священный Альянс был создан только для того, что искоренить в Европе либеральные идеи 1789 года, которые были изложены в Прокламации человеческих и гражданских прав, и Меттерних ничего не оставил неиспробованным, чтобы претворить эту немую страсть деспотов в реальность. Но он со своими человеконенавистническими попытками оказался в долгосрочной перспективе столь же безуспешен, как и Наполеон, который высказывался о свободе очень похоже на Муссолини, и как одержимый работал над тем, чтобы каждое человеческое движение, каждый удар пульса общественной жизни настроить на ритм гигантской государственной машины.

Но гордые слова о фашизме, который «не знает богов, не поклоняется фетишам», теряют всякое значение, т.к. фашизм только затем сбросил с постаментов всех богов, выбросил на свалку все фетиши, чтобы поставить на их место огромного молоха, который пожирает душу человека и загоняет его ум в кавдинское ущелье позора: *Государство – всё, человек – ничто!* Цель жизни гражданина – быть использованным государством, «*быть проглоченным машиной и выплюнутым как мёртвая цифра*». Ибо этим и исчерпывается вся задача так называемого «государства тотальности», возведённого в Италии и в Германии. Чтобы достичь этой цели, изнасиловали ум, заковали всякое человеческое чувство в цепи и

растоптали в бесстыдной жестокости молодой посев, из которого должно было вырасти будущее. Не только рабочее движение всех направлений стало жертвой фашистской диктатуры, каждый, кто пытался идти против течения или просто хотел сохранить нейтральность в отношении новых хозяев, должен был испытать на собственной шкуре, как фашизм «перешагнул через тело свободы».

Искусство, театр, наука, литература и философия угодили в позорную кабалу режима, чьи бездушные носители не чурались никакого преступления, чтобы добиться власти и утвердиться в новом положении. Число жертв, которые были убиты обезчеловеченными подмастерьями в те кровавые дни фашистского присвоения власти и позднее в Италии и Германии, идёт на тысячи. Многие тысячи безвинных людей были высланы с Родины в изгнание, среди них длинный ряд выдающихся учёных и людей искусства с мировым именем, которые могли бы украсить любую другую нацию. Стаи варваров вторгались в квартиры мирных жителей, грабили частные библиотеки и сжигали сотни тысяч лучших творений на городских площадях. Другие тысячи были вырваны из лона семьи и сосланы в концентрационные лагеря, где их человеческое достоинство ежедневно попиралось ногами и многие были медленно замучены до смерти трусливыми прислужниками палачей или доведены до самоубийства.

В Германии это безумие приняло особенно злокачественные формы посредством искусственно раздутого расового фанатизма, который в особенности был направлен против еврейских граждан страны. Варварство давно минувших столетий вдруг снова ожило. Настоящее наводнение подлых, полных ненависти писаний, которые взывали к самым низким инстинктам в человеке, снизошло на Германию и забило все каналы общественного мнения. (Вот лишь небольшой пример из тысяч прочих: *«Есть два различных сорта антисемитизма: высший и низший. Первый интеллектуален, гуманен, является паллиативным средством и состоит в том, чтобы были созданы законы, ограничивающие область действия евреев. Эти законы делают возможным сосуществование евреев и гойим. Эти меры можно сравнить с доской, которую привязывают коровам на рога, чтобы они не смогли причинить другим вреда. – Есть и другой антисемитизм, заключающийся в том, что евреи просто убиваются гойим, доведёнными до предела своих мучений, нужды и терпения. Этот антисемитизм хотя и ужасен, но его последствия благи. Он просто перерезает узел еврейского вопроса тем, что он уничтожает всё еврейское».*) Области, которых до сих пор не касался даже дичайший деспотизм, как например отношения полов, были поставлены в Германии под наблюдение государства, учредившего особые расовые министерства, чтобы охранить народ от «расового позора», заклеить и уголовно преследовать браки между евреями, темнокожими и так называемыми арийцами. Чем сексуальная этика оказалась сведена на уровень животноводства.

Фашизм называли началом антилиберальной эпохи в истории Европы, которая вышла из масс и засвидетельствовала, что «время индивида» прошло. В реальности же, за этим движением стояли интересы небольшого меньшинства, которое понимало, как использовать чрезвычайно выгодное положение дел в свою пользу. И в этом случае слова молодого генерала Бонапарта оказываются правдой: «Дай народу игрушку, он будет проводить с ней время и позволить вести себя, разумеется, если умеючи скрыть от него последнюю цель». И чтобы умело скрыть эту последнюю цель, нет лучшего средства, чем ухватить массы с той стороны, с какой вере им нашёптывает, что они – избранный инструмент высшей силы и служат священной цели, которая только и придаёт их жизни наполнение и цвет. В этом укоренении фашистского движения в потребности масс поклоняться чему-либо и заключается его настоящая сила. Ибо и фашизм является лишь примитивным религиозным массовым движением в политических одеждах.

Французский профессор Верн с медицинского факультета в Сорбонне, принимавший участие в Интернациональном конгрессе за развитие наук в Болоньи (1927), рассказал французской газете Le Quotidien о своих впечатлениях, полученных в Италии:

«В Болоньи у нас было ощущение, что мы угодили в город толчеи. Стены были полностью заклеены плакатами, придававшими им мистический характер: Бог послал его нам, горе тому, кто на него покусится! Изображение Дуче можно было видеть во всех витринах. Символ фашии, светящийся символ, был на всех монументах и даже на знаменитой болонской башне».

Слова французского учёного отражают дух движения, которое находит в примитивной потребности молиться кому-либо самую сильную поддержку, и которое только потому смогло достичь самых широких слоёв населения, что наиболее активно ответило их вере в чудеса, когда они были разочарованы всеми остальными.

То же самое можно было наблюдать в Германии, где национал-социализм в удивительно короткие сроки распух до огромного движения и втянул миллионы людей в слепую толкотню, которые с религиозной истовостью ожидали пришествия Третьего Рейха и ожидали от за несколько лет того совершенно им неизвестного человека, так и не предоставившего ни малейшего доказательства своих способностей, конца всех горестей. И это движение было в конечном итоге лишь инструментом властно-политических устремлений меньшинства, которое понимало как «умело скрыть свою последнюю цель», как предпочитал выражаться хитрый Бонапарт.

Но движение само обладало признаками массового религиозного помешательства, которое сознательно разжигалось людьми, стоящими в тени движения, чтобы запугать противника и вытеснить с поля боя. Даже такая консервативная газета как Taegliche Rundschau меткими словами охарактеризовала религиозную одержимость национал-социалистического движения незадолго до прихода Гитлера к власти: *«Что же касается степени поклонения, то Гитлер мог бы легко обставить Папу. Стоит только почитать его Рейхсгазету, Voelkischer Beobachter. день за днём ему поклоняются тысячи. Детская невинность осypает его цветами. Небо преподносит 'гитлеровскую погоду'. Самолёт его противостоит опасным элементам. Каждый номер печатает фюрера в новых позах. Блажен, кто смотрел ему в глаза! Его именем отдельным людям и Германии желают счастья: Хайль Гитлер! Младенцев освящают его благим именем. Да, перед домашними алтарями нежные души ищут поддержки. А в его газете можно уже читать о нашем Высочайшем Вожде, с намеренным написанием этого прилагательного с большой буквы. Всё это было бы невозможным, если Гитлер сам не поддерживал это обожествление... С какой религиозной истовостью массы верят в его миссию по учреждению грядущего царства, показывает выпускаемая в оформлении с Гитлером и девочками перефразировка Отче наш: Адольф Гитлер, Ты наш Великий Фюрер, имя Твоё заставляет дрожать врагов, да придёт Твой Третий Рейх, воля Твоя да будет всем законом на земле. Дай нам ежедневно слышать Твой голос, и приказывай нам через Твоих фюреров, которых мы хотим слушаться, рискуя своими жизнями. В том мы клянёмся! Хайль Гитлер!»*

Можно было бы спокойно не обращать внимания на эту слепую религиозную истовость, кажущуюся почти что безопасной в своей детской беспомощности. Но эта кажущаяся безопасность сразу же исчезает, когда фанатизм верующих должен служить инструментом воплощения тайных планов для власть имущих и страждущих власти. Тогда безумие безответственных, подпитывающееся из сокрытых источников религиозного чувства, раздувается до дичайшей одержимости и из него выковывается оружие огромнейшей мощи, которое расчищает дорогу для всякой беды. Не надо говорить, что только страшная

материальная нужда наших дней ответственная за это, т.к. она лишает людей, истощённых нищетой долгих лет, рассудка и заставляет их поверить каждому, кто подпитывает грызущую их нужду привлекательными обещаниями. Военная одержимость 1914 года, обрушившая мир в сумасшедший хоровод и сделавшая людей недостижимыми для всех доводов разума, разразилась тогда, когда дела у народов в материальном плане обстояли значительно лучше, и они ещё не чувствовали каждый год за спиной призрак экономической нестабильности. Это показывает, что эти явления не могут быть объяснены чисто экономически, и что в подсознании людей есть силы, которые нельзя постичь логически. Это религиозное стремление, которое ещё и сегодня живо в людях, даже если формы веры изменились. «Бог хочет этого!», лозунг крестоносцев, едва ли отзовется сегодня в Европе эхом, но всё ещё есть миллионы людей готовых на всё, когда этого хочет нация. Религиозное ощущение приняло политические формы, но политический человек наших дней так же гордо стоит перед просто человеком, как и человек, находившийся столетия назад под влиянием церковных догматов.

Вот в этом и заключается опасность. Абсолютный деспот прошедших времён мог вполне сослаться на божественную легитимность своего правления, но каждое его деяние отражалось на нём же самом, т.к. перед миром его имя должно было покрывать всё право и всю несправедливость, ведь его воля считалась высочайшим законом. А под прикрытием нации можно сделать всё: национальный флаг покрывает всякую несправедливость, всякую бесчеловечность, всякую ложь, всякое постыдное действие, всякое преступление. Коллективная ответственность нации удушает чувство справедливости у отдельного человека и искажает человека настолько, что он вообще не замечает совершённую им несправедливость, да она кажется ему даже почётным делом, если совершается в интересах нации.

«Идея нации – говорит индийский поэт и философ Тагор – это одно из самых действенных средств наркотика, которые изобрёл человек. Под воздействием его паров целый народ может выполнить систематическую программу дичайшего эгоизма, даже не подозревая о своей моральной испорченности. Да, народ опасно возбуждается, если ему на это указывать».

Тагор называл нацию «организованным эгоизмом». Определение хорошо выбрано, но не стоит забывать, что тут всегда идёт речь об организованном эгоизме привилегированных меньшинств, которые скрываются за кулисами нации, т.е. за верой широких масс. Говорят о национальных вопросах, национальном капитале, национальных рынках сбыта, национальной чести и национальном духе, но забывают, что за всем этим прячутся лишь эгоистичные интересы жаждущих власти политиков и жаждущих добычи предпринимателей, для которых нация является удобным средством скрывать от глаз мира свои личные жадность и властнополитические игры.

Непредвиденное развитие капиталистического индустриализма создало и возможности национальных массовых внушений в такой степени, о которой раньше и не мечтали. В современных больших городах и центральных пунктах индустриальной работы рядом друг с другом в тесноте живут миллионы людей, которые посредством радио, кино, прессы, воспитания, партий и сотен других средств, без духовной и умственной защиты, в определённом смысле повергаются дрессировке и лишаются личного контроля над жизнью. На предприятиях крупной капиталистической промышленности работа стала бездушной и потеряла для индивида характер творческой радости. Тем, что она стала тоскливой самоцелью, она унизила человека до вечного раба галеры и лишила его самого ценного: внутренней радости от созданного продукта, творческого стремления личности. Индивид чувствует себя просто как незначительная часть гигантского механизма, в монотонности которого погибает всякая персональная нота.

Тем, что человек подчинил себе силы природы, но в постоянной борьбе с внешними условиями забыл придать своим действиям моральное содержание и сделать достижения своего ума полезными для общества, он сам стал рабом аппарата, созданного им. Это тот чудовищный груз машины, который лежит на нас и превращает нашу жизнь в ад. Мы утратили свою человечность, но стали зато людьми профессий, предпринимательства, партий. Нас всунули в смирительную рубашку нации, чтобы сохранить наши «исконно народные качества», но наша человечность была брошена собакам, а наши отношения с другими народами превратились в ненависть и недоверие. Чтобы защищать нацию мы ежегодно жертвуем чудовищными суммами нашего дохода, в то время как народы всё глубже погрязают в нищете. Каждая страна похожа на вооружённый лагерь и со страхом и смертельной подозрительностью следит за каждым движением соседей, но всегда готова поучаствовать в любых авантюрах против них и обогатиться за их счёт. Из этого следует, она всегда должна пытаться доверить свои дела мужам, обладающим широкой совестью, ибо только у таких есть хорошие шансы утвердиться в вечной игре внешней и внутренней политики. Это понял ещё Сен-Симон, когда он сказал:

«Каждый народ, желающий заняться завоеваниями, вынужден разжигать в себе самые низменные страсти, он вынужден выделить высочайшие посты людям с жестоким характером, как и тем, кто показывает себя самым подлым». (Saint-Simon, Du systeme industriel, 1921)

Прибавьте к этому постоянный страх войны, чьи предполагаемые последствия с каждым днём становятся всё более непредсказуемыми и ужасными. Даже наши обоюдные договоры и сравнения с другими нациями не приносят нам облегчения, ибо они состояются, как правило, с определёнными тайными мыслями; ведь наша так называемая национальная политика обуславливается опасным эгоизмом и не может уже поэтому только привести к настоящей разрядке или, тем более, к желаемому всеми сглаживанию национальных противоречий. С другой стороны мы развили наши технические возможности до уровня, кажущегося почти что фантастическим. Но человек не стал от этого богаче, а только беднее. Вся наша экономика очутилась в состоянии постоянной неуверенности, и в то время как фривольно уничтожаются миллионные ценности, чтобы поддержать высокий уровень цен, в каждой стране живут миллионы людей в страшной нищете и позорно погибают в мире избытка и так называемого перепроизводства. Машина, которая должна была облегчить человеку труд, сделала его тяжёлым, а своего изобретателя самого постепенно превратила в машину, которая должно каждое своё движение приспособлять к движениям стальных колёс и рычагов. И как до мельчайших деталей подсчитывают производительную способность искусственного механизма, так подсчитывают мышечную и нервную силу живого производителя по определённым научным методам и не понимают, не хотят понимать, что тем самым его лишают души и подвергают его человечность тяжелейшим надругательствам. Мы всё более угождаем под власть механики и жертвуем живое человеческое бытие мёртвому равномерному бегу машины, когда большинство даже не осознаёт чудовищности этого начинания. Поэтому через эти вещи просто перешагивают с равнодушием и холодом в сердце, как если бы речь шла о неодушевлённых предметах, а не о человеческих судьбах.

Чтобы сохранить это положение вещей, мы ставим все технические и научные завоевания на службу организованному массовому убийству, воспитываем нашу молодёжь унифицированными убийцами, отдаём народы на растерзание бездушной тирании чуждой жизни бюрократии, подвергаем человека от колыбели до самой могилы полицейскому надзору, строим повсюду тюрьмы и казармы и населяем каждую страну целыми армиями хвастунов и шпионов. Не должен ли такой порядок, из большого лона которого постоянно исходят жестокость, несправедливость, ложь, преступление и моральное разложение, как

ядовитые зачатки опустошающих эпидемий, постепенно убедить и самый консервативный ум, что он (порядок) куплен слишком дорогой ценой?

Победа техники над человеческой личностью и, в особенности, фаталистская преданность, с которой большинство находится в этом состоянии, тоже являются причинами, почему в современном человеке столь мала потребность в свободе, и у многих она уступила место потребности в экономической стабильности. Это явление не удивляет, т.к. всё наше развитие достигло сегодня такого пункта, где почти каждый человек является начальником или подчинённым, или и тем и другим. Этим значительно усиливается дух зависимости, т.к. истинно свободному человеку не нравится быть ни в роли начальника, ни в роли подчинённого, он, более того, стремится к тому, чтобы претворить свои внутренние ценности и личные способности таким способом, который позволил бы ему во всех ситуациях иметь своё мнение, делающее его способным к самостоятельному действию. Продолжающееся попечительство наших действий и мышления сделало нас слабыми и безответственными. Отсюда и вопли о сильном человеке, который должен положить конец всей нужде. Этот вопль о диктаторе не является знаком силы, но доказательством внутренней пустоты и слабости, даже если те, кто его исторгает, честно пытаются выглядеть решительно. То, чего у нас нет, того нам хочется сильнее всего. Т.к. мы чувствуем себя слабыми, мы верим в благодать силы других; т.к. сами мы слабы и запуганы, чтобы пользоваться своими руками, чтобы стать кузнецами своего счастья, мы доверяем свою судьбу другим. Как прав был Сойм, когда он говорил: *«Нация, которую надлежит или можно спасти только посредством одного единственного человека, заслуживает ударов плетью!»*

Нет, путь к исцелению может вести только в направлении свободы, ибо в основе каждой диктатуры лежит доведённое до предела отношение зависимости, которое никогда не может быть полезным в деле освобождения. Даже тогда, когда диктатура задумана как переходный период, чтобы достичь определённой цели, практические свершения её носителей – если они, вообще, имели честные намерения, служить делу народа – уводят её всё дальше от изначальных целей. Не просто потому, что каждое временное правительство, как говорил Прудон, постоянно стремится к тому, чтобы стать постоянным, а прежде всего потому, что никакая власть не является творческой и уже по этой причине подстрекает к злоупотреблению. Люди верят, что могут использовать власть как средство, но средство тогда разрастается до самоцели, за которым исчезает всё. Именно потому, что власть является бесплодной и не может породить ничего творческого, она вынуждена пользоваться творческими силами в обществе и втискивать их в свою службу. Она должна надевать фальшивое платье, чтобы скрыть свою слабость, и это обстоятельство приводит её носителей к фальшивым представлениям и сознательному обману. Тем, что она стремится подчинить себе творческую силу общества, она в то же время разрушает глубокие корни этой силы и засыпает источники всякого творческого действия, которое выносит оплодотворение, но не принуждение.

Нельзя освободить народ тем, что его просто пере-подчиняют новой и более сильной власти, и так начинают снова круговорот слепоты. Всякая форма зависимости неизменно ведёт к новой системе рабства, диктатура более чем любая другая форма правления, т.к. она насильственно запрещает всякое нелестное суждение о действиях её носителей и так, с самого начала, уничтожает лучшие альтернативы. Но всякое отношение зависимости коренится в религиозном сознании человека и парализует его творческие силы, которые могут беспрепятственно развиваться только на свободе. Вся человеческая история до сих пор была постоянной борьбой между сотворяющими культуру силами и властными устремлениями определённых каст, чьи носители всегда ставили рамки культурным устремлениям или хотя бы пытались это сделать. Культура даёт человеку сознание своей человечности и творческой силы; власть же углубляет в нём чувство его зависимости и рабской связанности.

Следует освободить человека от проклятия власти, от каннибальства эксплуатации, чтобы развязать в нём все творческие силы, которые постоянно могут давать его жизни новое наполнение. Власть унижает его до мёртвой части машины, которую приводит в движение высшая воля; культура делает его хозяином и кузнецом своей судьбы, и усиливает в нём чувство общности, из которого рождается всё великое. Избавление человечества от организованного попечительства государства, из тесных пут нации является началом нового человечества, которое чувствует, как на воле у него растут крылья, и оно находит в общности свою силу. И для будущего пригодится мягкая мудрость Лао-Цзы:

Править соответственно дороге, значит править без насилия:

Уравновешивающее воздействие правит в обществе.

Там, где была война, растут колючки

И год будет без урожая.

Добро не является насилием и не нуждается в нём:

Оно не вооружается блеском,

Не похваляется славой,

Не подпирается преступлением,

Не покоится на строгости,

Не стремится к власти.

Возвышение указывает на закат.

Вне дороги – значит всё наперекос.

Глава XXIII, «Иллюзия национального понятия культуры»

Сущностное единство всей культуры. Опасность коллективных понятий, сравнительная психология народов. Влияние инстинкта общительности. Индивидуальная и массовая психология. Суждения о чужих народах. Образ собственной нации, желаемое. Символ нации. Иллюзия национальной культуры. Безграничность происходящего в культуре. Капитализм как временный продукт общественного развития. Рационализация капиталистической экономики. Американизация Европы.

Влияние капиталистической экономики на современную государственную политику. Форма государства не выражает национальные особенности. Современное конституционное государство. Сущность партий. Парламентская машина. Экономический индивидуализм и капиталистическое государство. Экономический национализм. Политическое формирование в современности. Не существует ни одной культуры, о которой можно было бы утверждать, что она возникла совершенно независимо и без внешних влияний. Хотя мы достаточно рано привыкли к тому, чтобы оценивать так называемую историю культуры согласно определённым критериям, подобно тому, как аптекарь распределяет свои вещества по коробочкам, бутылочкам и баночкам, но нельзя утверждать, что мы много с этого поимели. Тем, что мы пытаемся по-настоящему плавно выработать внутренние различия между культурами, мы теряем способность, верно оценивать общие черты, которые лежат в основе всех вместе и отдельных культур; мы больше не замечаем леса за деревьями. «Закат Европы» Шпенглера является лишь запоздалым, но богатым на последствия событием этой одержимости. Лишь удивительные результаты современной этнологии и социологии открыли нам глаза на примечательные сходства общественного и культурного развития у различных групп людей, и открыли путь для ревизии всех традиционных понятий. Повсюду, где научные исследования до сих пор приступали к освоению прошедших культурных эпох, они наткнулись на останки более древних культур или на связи и переходы, которые дают шанс чётко распознать оплодотворяющее влияние предшествующих общественных формаций.

«Мы не можем выпасть из этого мира», как говорил Граббе. Это высказывание постоянно напоминает нам о сущностном и общем, которое связывает всех людей друг с другом и, не смотря на все особенности, которые получаются из-за различий в климате и внешних условиях, едва ли нарушают внутреннее равновесие между различными группами людей. Мы все являемся детьми этой планеты и подчиняемся одним и тем же законам жизни, которые находят своё элементарное выражение в голоде и любви. И поскольку наша психологическая структура, в принципе, остаётся той же, поскольку естественное окружение, в котором мы живём, в той же мере влияет на нас, даже если и внешние условия не везде одинаковы, духовное и душевное влияние, которое оказывает окружающая среда, является куда более схожей, чем многие полагают. Повсюду человек борется за сохранение своего рода и внутри этого рода за своё личное существование; повсюду причины его действий те же самые. Естественное окружение и врождённые инстинкты, которые достались ему через непрерывную цепь предков, и действующие в подсознании наших умов, повсюду создают одни и те же первичные формы религиозного чувства. Борьба за существование во всех зонах ведёт к определённым формам экономической и политической жизни, которые часто выказывают удивительное сходство, даже когда речь идёт о народах различных рас, разделённых странами и морями. Всё это показывает, что наше мышление и наши действия изза одних и тех же психологических качеств и восприимчивости к влиянию окружающей среды подчинены тем же основным законам жизни, относительно которых все различия в

выражении играют лишь подчинённую роль. В большинстве случаев речь идёт просто о различных уровнях, которые возникают сами по себе из высоких или более низких культурных потребностей.

С тех пор, как Гегель и прочие научили нас мышлению в абстрактных понятиях, этот тип мышления стал модой. Мы привыкли к тому, чтобы оперировать средними психологическими показателями, и при этом мы доходим до самых диких обобщений, а большинство даже и не догадывается о том, что оно стало жертвой произвольных предпосылок, которые необходимо приводят к дичайшим выводам. После того, как Лазарус и Штайнталь, следуя по стопам Хербарта, сконструировали со всей возможной проницательностью так называемую *сравнительную психологию народов*, путешествие весело продолжилось в том же направлении и привело нас, по железной логике, к абстрактным представлениям о душе масс, душе классов или рас и т.п., к возникшим из акробатики духа понятиям, под которыми можно понимать всё и ничего. Так, Достоевский стал для нас воплощением славянской души, как Гёте – немецкой. Англичанин представляется нам как живое воплощение трезвого рассудка, которому осталось недоступным любое эмоциональное наблюдение за вещами; француз – как носитель фривольной тяги к славе, а немцы – как *народ поэтов и мыслителей*. И мы опьяняем этим звоном слов и радуемся по-королевски, когда речь обогащается новым словесным фетишем. Мы ведь на полном серьёзе говорим о *народном индивиде*, даже о *государственном индивиде*, под чем ни в коем случае не подразумевается какой-либо человек, принадлежащий какому-либо народу, или гражданин определённого государства; нет, в этом случае обращаются к целому народу или к государству, как если бы они были отдельными существами с определёнными чертами характера и психическими качествами или умственными способностями. Надо понять, что это означает: абстрактные конструкции, вроде государства или народа, которые просто дают нам социологические понятия, снабжаются определёнными качествами, которые можно наблюдать только у отдельных особей. Применённые же к общности, они должны необходимо привести к чудовищным заблуждениям.

Как возникают подобные конструкции – нам показывает Лазарус в своём обосновании «Психологии народов» со всей ясностью. После того, как он без лишних размышлений перенёс особенности отдельной особи на целые народы и нации, он глубокомысленно изрекает, что отдельный человек заслуживает внимания лишь как носитель общего духа и лишь как таковой является передатчиком идей (Moritz Lazarus, *Das Leben der Seele*, Berlin 1855-1857). Следуя за мыслью Вильгельма фон Гумбольдта, Лазарус и Штайнталь, прежде всего, опирались на различия между языками, чьё органическое строение они пытались произвести из особенного духа каждого народа. К этому же особенному духовному и умственному настрою они сводили и разницу в религиозных представлениях народов, их общественных учреждениях и их этических понятиях, и приписывали каждой нации особый вид чувственности и мышления, который она не может ни добровольно принять, ни отказаться от него.

С тех пор мы поняли, что язык как *выражение определённого духовного и умственного состояния* вообще рассматривать нельзя, т.к. больше нет ни одного народа, который остался бы при своём *изначальном языке* или не сменил бы язык в ходе истории, как уже говорилось ранее. Так же дело обстоит и с различными формами правления, общественными учреждениями, моральными представлениями и религиозными системами. Тем не менее, мы шагали всё дальше по пути, проторенному Лазарусом и Штайнталем. Густав ле Бон стал основателем *массовой психологии*, другие же открыли *психику класса*, в то время как Гобино, Чемберлен, Вольтман, Гюнтер и прочие были счастливы обнаружить *расовую душу*. При этом все пользовались тем же методом: они переносили особенные качества отдельной особи на нации, классы и расы, и верили, что тем самым превратили абстрактную конструкцию в

теплокровный организм. Это тот же самый метод, при помощи которого человек сотворил своих богов тем, что перенёс свою сущность на бледное строение своего воображения и сделал его повелителем своей жизни. Кто хотел бы сомневаться, что изобретатели различнейших коллективных психологий, который конструируют свои схемы тем же самым образом, не должны будут потом прийти к тем же результатам? Каждое образовавшееся подобным образом коллективное представление становится Сатурном, который в этом случае пожрёт, пожалуй, не своих детей, но своих собственных отцов.

Когда мы начали оперировать понятием *массовой психологии*, то мы хотели указать этим на то, что человек, когда он вместе со многими другими и тем же образом возбуждается каким-либо происшествием, подчиняется особенному движению разума, которое при некоторый обстоятельствах побуждает его к действиям, которые он, сам по себе, никогда не стал бы совершать. Пока что всё хорошо. Без сомнения, такие настроения существуют; но и здесь мы сталкиваемся с настроениями отдельной особи, а не с настроениями массы как таковой. Движения ума такого рода, несомненно, происходят из инстинкта общественности человека и означают лишь, что он является существенной чертой его человеческого существования. Таким образом, возникают настроения общей боли или общей радости и воодушевления, как и вообще всякое глубокое душевное ощущение отдельного существа вызывается непосредственным влиянием его общественного окружения. Массовое выражение человеческого чувства, как мы можем наблюдать его на массовых мероприятиях, лишь потому производит такое сильное впечатление, потому что общая сумма каждого отдельного ощущения проявляется с элементарной силой и поэтому исключительно возбуждает состояние ума отдельного человека.

Кстати, схожести чувства у отдельных людей можно установить не только в массах, но и среди других побочных явлений, чем постоянно выявляется, что у людей, не смотря на все различия, есть похожие основные инстинкты. Так, вынужденное одиночество, но так же и вынужденное общество у многих людей весьма похожие чувства, которые зачастую даже выливаются в похожие действия. То же самое можно установить при некоторых проявлениях болезни, при сексуальном возбуждении и сотне других обстоятельств. При этом можно говорить лишь об индивидуальном состоянии души или ума, т.к. только у отдельного человека имеются психологические предпосылки для душевных движений и умственных впечатлений какого-либо рода, но не у абстрактных сущностей вроде государства, массы, нации или расы. Мы едва ли можем представить себе возникновение мысли без функции мозга или чувственных впечатлений без посредства нервов, равно как и пищеварительных процесс без соответствующих органов. Уже по этой причине всякой коллективной психологии недостаёт твердого основания, лишь на основании которого можно делать приносящие пользу сравнения. Лишь приверженцы тех теорий не смущаются этими мелочами и радостно обобщают всё подряд; что из этого получается - иногда оказывается очень разумно скомпонованным, но на этом и всё.

Принадлежность к определённому классу, нации или расе ещё не решает о мышлении и чувствах отдельного человека в общем; столь же мало из образа мышления и черт характера отдельного человека можно дистиллировать сущностные черты нации, расы или класса. Всякое большое или малое общественное образование охватывает людей со всевозможными чертами характера, духовными возможностями и практическими инстинктами действия, в которых выражаются все полутона человеческого чувства и мышления. Между людьми, принадлежащими к такой группе, как правило, существует неопределённое чувство родства, с которым отдельные люди не рождаются, но оно в них воспитывается, но и для оценки всего оно не обладает ценностью. То же самое касается и сходства психической и умственной природы, которые обнаруживают свою причину в условиях окружающей среды. Во всяком случае, особые предрасположенности отдельной особи во всём её развитии выделяются

отчётливей, чем определённые общие черты, которые у сложились по ходу времени у определённых групп. Это, между прочим, ещё Шопенгауэр верно подметил, когда писал:

«Кстати, индивидуальность значительно перевешивает национальность и в одном определённом человеке первое заслуживает в тысячу раз больше внимания, чем второе. Если честно, то национальному характеру, т.к. он рассказывает о толпе, нельзя приписать много достоинств. Более того, в каждой стране человеческая ограниченность, путанность и испорченность принимают только другую форму, а её и называют национальным характером. Испытывая отвращение к одному такому характеру, мы нахваливаем другой, пока и с ним мы не испытываем того же. – Всякая нация насмехается над другой, и все правы».

То, что Шопенгауэр говорит здесь о национальности и национальном характере, можно точно так же применить и к коллективным понятиям. Качества, которые психологи толпы приписывают своим коллективным конструкциям, редко соответствуют действительности; они всегда являются лишь результатом личных желаний, и поэтому к ним следует относиться как к фантазиям. Раса или нация, чьи характерные качества пытается представить расовый психолог или психолог народов, будет всегда отвечать картине, которая уже для него существует. Да, соответственно симпатиям или отвращению, которые он испытывает в данный момент, эта раса или нация становится гениальной, рыцарской, верной, идеалисткой, честной или духовно недоразвитой, торгашеской, неверной, материалисткой и предательской. Стоит только сравнить различные суждения, которые давались во время Мировой войны представителями всех наций другим нациям, и об истинном значении таких оценок не будет больше никаких иллюзий. Ещё более разоблачающим было бы впечатление, если бы мы при этом ещё рассматривали оценки из более ранних периодов в виде сравнения, чтобы противопоставить их более поздним. К примеру, гимн французского романтика Виктора Гюго в честь немецких народов или оду английского поэта Томаса Кэмпбела «К немцам», и как противоположность этому – национальные излияния уважаемых современников в обеих странах в отношении всё тех же немцев. Когда речь заходит об англичанах или французах, то этим не делается комплиментов немцам. Стоит только почитать безмозглые рассуждения немецких теоретиков расы о предполагаемой недоразвитости британцев и дегенерации французов, и мы без труда поймём максимум Ницше: «Не общаться с людьми, которые участвуют в лживом расовом надувательстве».

Сколь сильно изменившиеся обстоятельства и моментальные настроения влияют на суждения о чужих нациях, понятно из рассуждений двух французских авторов, которые Карл Лан запечатлел в своём прекрасном и достойном прочтения произведении «Французы». Так, Фрадерик-Констант де Ружемо судил о немцах следующим образом:

«Немец приходит в мир ради духовной жизни. Ему недостаёт шумного, лёгкого веселья французов. Его душа богата, его склонности нежны и глубоки. За работой он неутомим, в предприятии вынослив. Ни один народ не знает более высокой морали, нигде люди не достигают более почтенного возраста... В то время как жители других стран гордятся тем, что являются французами, англичанами или испанцами, немец заключает в свою непредвзятую любовь всё человечество. Уже из-за расположения посреди Европы кажется немецкая нация одновременно и сердцем и высшим разумом человечества».

Сравните эти рассуждения с оценкой доминиканского священника Дидона в его книге Les Allemands о тех же самых немцах:

«Я никогда не замечал у немцев, даже в том возрасте, когда человек наиболее открыт для рыцарских мыслей, буйного движения духа, которое бы простиралось за пределы интересов

их родины. Граница абсолютно сковывает германца. Эгоизм – его высший закон. Его великие государственные мужи суть лишь гениальные преследователи пользы. Их алчная политика, которой хочется более пользы, чем славы, никогда не была хоть сколько-нибудь неодобрима народом, который без сопротивления и слепо принимает её оракулов. Немцы обзаводятся союзниками, но не друзьями. Те же, которых они к себе приковывают, охватываются заинтересованностью или страхом, ибо им приходится задуматься о своём трудном будущем. Как можно не бояться, когда они оказываются подчинены благосклонности власти, которая не знает справедливости, и когда эгоистичная власть правит неограниченно? ... Немецкое влияние в Европе означает всеобщий милитаризм, владычество ужаса, насилия, эгоизма. Я пытался бесчисленное количество раз открыть у них хоть какие-то симпатии относительно других наций – мне это не удалось».

Обе оценки взаимно упраздняют друг друга, хотя они, без сомнения, каждая на свой лад, оказали влияние на общественное мнение во Франции. Тем не менее, ещё есть некоторое объяснение для зияющего противоречия, которое мы тут обнаруживаем. Обе оценки исходят от различных людей; одна была дана до, а другая после немецко-французской войны 1870-71-х годов. Тогда, в великое время лжи, которое безмозглые головы называли плавильной печью омоложения народов, оценки давались несколько быстрее, и люди, кроме того, научились подгонять оценки под обстоятельства. Так, Poplolo d'Italia, печатный орган грядущей диктатуры Муссолини, выдал следующую милую оценку румынам, прежде чем они ввязались в войну и перешли на сторону союзников:

«Пора бы уже прекратить называть румынов братской нацией. Это не романы, даже если они и украшают себя этим славным именем. Это смесь варварских народов, которые были подчинены римлянами, со славянами, печенегами, хазарами, аварами, татарами, монголами, гуннами, турками и греками. И можно легко себе представить, что за отребье из этого получилось. Румын и сегодня варвар, и недоразвитый индивидуум, который на смех французам имитирует парижанина, и охотно ловит рыбу в мутной воде, где нет опасности, которой он по возможности избегает. Это он доказал ещё в 1913 году».

Но едва румыны вступили в войну, чтобы сражаться на стороне союзников, та же газета Муссолини писала о них:

«Румыны теперь доказали блестящим образом, что они являются достойными сыновьями древних римлян, от которых они также происходят как и мы. Т.е. это наши родные братья, которые теперь с присущей им мужественностью и решительностью присоединяются к борьбе латинской и славянской расы против германской. Иначе говоря, к борьбе за свободу, культуру и право против прусской тирании, произвола, варварства и эгоизма. Как румыны показали в 1877 году, на что они способны на стороне наших смелых русских союзников против турецкого варварства, так и сегодня с теми же союзниками они бросят свой острый меч на чашу весов, и заставят их склониться против австрийско-венгерско-немецкого варварства и бескультурья. Иного и нельзя было ожидать от народа, который имеет честь принадлежать к латинской расе, которая некогда правила миром». (Мы позаимствовали эти две цитаты из прекрасной книги профессора Юлиуса Гольдштейна Rasse und Politik – P.P.)

Было бы полезно кропотливо собирать и противопоставлять друг другу подобные суждения, которые были высказаны во время войны о различных нациях. Такая коллекция была бы лучшим свидетельством к бездуховности нашего времени, чем самые прекрасные комментарии наших историков.

Если суждения так называемых психологов расы или народов о чужих нациях, как правило, и несправедливы, односторонни и искусственны, то продолжающееся прославление собственной нации за счёт других – глупы и ребячливы, если, разумеется, к этому ещё сохранилась восприимчивость. Представьте себе человека, который не упускает возможности, похвалить себя как воплощение всей мудрости, гениальности и добродетели, и при этом воскурении ладана в свою честь унижает всех окружающих и называет их неполноценными. Наверняка, его бы посчитали самовлюблённым дураком или больным, и обращались бы с ним соответственно. Но когда речь заходит о собственной нации, люди готовы на великие глупости и вовсе не стыдятся, нахваливать свои добродетели и рассматривать других как людей второго сорта, как если бы это было нашей заслугой – родиться как немцы, французы или китайцы. Даже выдающиеся умы подлежать той же слабости, а английский философ Юм знал, что говорил, когда утверждал:

«Когда наша нация вступает в войну против другой, мы презираем другую нацию от всего сердца и называем её жестокой, неверной, несправедливой и склонной к насилию; но нас самих и наших союзников мы считаем честными, сознательными и снисходительными. Свои предательства мы называем хитростью, наши жестокости становятся для нас необходимостью. Короче, наши ошибки кажутся нам малыми и незначительными, мы нередко нарекаем их именем добродетели, которая наиболее им близка.»

Всякая коллективная психология больна этими недостатками и вынуждена логикой своих же собственных предпосылок, выдавать пустые желания за конкретные факты. Но тем самым она самостоятельно приходит к заключениям, которые открывают двери всяческим самообманам. Но ещё более глупо говорить о национальной культуре, в которой выражается особенный дух или особенная душа народа. Вера в национальную душу культуры покоится на той же иллюзии, что и исторические миссии у Боссюэ, Фихте, Гегеля и их многочисленных последователей.

Культура как таковая никогда не является национальной; да уже потому не является, что она вырастает за политические рамки государственных конструкций и не связывается национальными границами. Беглый взгляд на различные области культурной жизни легко это подтверждает. При этом мы будем избегать всякого искусственного разделения между цивилизацией и культурой. Наши наблюдения будут распространяться на все области, где выражается сознательное вмешательство человека в дикое действие природы, от материального учреждения экономической деятельности до самых развитых форм духовного творчества и художественной деятельности, ибо то, что Карел Чапек так прекрасно облачил в слова, касается и нас:

«Всякая человеческая деятельность, имеющая целью сделать нашу жизнь более полной, облегчить её и упорядочить, является культурной. Я не стал бы утверждать, что рычание моторов является музыкой современности. Но рычание моторов – один из голосов полифонии культурной жизни, так же как и божественный звук скрипки или слова чтеца, или крики на спортплощадке являются голосами этой полифонии. Культура не есть отрезок или часть жизни, она её сумма и её середина.»

Это было бы напрасным начинанием, искать национальных истоков или национального содержания в капиталистической экономической системе, в которой мы живём. Современный капитализм, который сказочно развил монополизацию средств производства и общественных богатств в интересе неких меньшинств и, тем самым, обрушил на широкие массы трудящегося населения жестокие последствия зарплатного рабства, не является результатом каких-либо национальных течений и не имеет с такими течениями ничего общего. Это правда, что носители капиталистической экономики при определённых условиях

поддерживают национальные устремления, но это происходит всегда по расчёту, т.к. национальные интересы, за которые они выступают, всегда были их собственными интересами. Ни один экономический порядок прошлого не приносил так открыто и так беспощадно так называемые национальные основы в жертву жадности определённых меньшинств в обществе, как капиталистический.

Становление капиталистического образа хозяйствования происходило во всех странах с такой восхитительной планомерностью, что можно понять, когда экономисты и экономические политики постоянно подчёркивают законы этого развития и усматривают в каждой форме капиталистической системы неизбежный результат железных законов экономики, чьи действия оказываются сильнее действий их человеческих носителей. В самом деле, капитализм во всех странах, которые были им охвачены, показывал те же самые формы, те же воздействия на общественную жизнь людей без различия на расы и нации. Где, то тут, то там, становились заметны небольшие различия, это является не последствием особенных национальных предрасположенностей, а условий, которые вызваны размахом капиталистических тенденций в экономике.

Сегодня это проявляется особенно явно в развитии капиталистических крупных индустрий в Европе и, особенно, в Германии. Ещё не так давно высказывались разнообразные мудрые мысли по поводу фантастического развития американской индустрии. Люди хотели увидеть в этих методах неизбежные воздействия особого американского духа, который никогда не мог бы сочетаться с ощущениями европейца, а тем более, немца. Кто теперь настолько смел пред лицом новейших результатов нашей общей экономической жизни, чтобы защищать эти столь же беспочвенные, сколь и горделивые утверждения? Знаменитая, но и оправданная рационализация экономики при помощи системы Тейлора и фордистской конвейерной работы привела в Германии в течение нескольких лет к большим успехам, чем в любой другой стране. Мы давно уже поняли, что тейлоризм и фордизм ни в коем случае не являются специфическими результатами американского духа, но заметными феноменами капиталистического экономического порядка как такового, к преимуществам которого добродушный немецкий предприниматель так же восприимчив, как и хитрый янки, о чьих чисто материалистических убеждениях раньше не могли высказаться достаточно уничижительно.

Тот факт, что эти методы сначала появились в Америке, ещё не служит доказательством того, что они основаны на американском духе и их следует рассматривать как особую национальную предрасположенность. Форд с Тейлором не получили свои методы в виде указаний с неба; у них тоже были свои предшественники и помощники, порождённые капиталистической экономикой, и уж точно не определённые на эту роль своими национальными чертами. Конвейерный труд, карточные часы и *scientific management*, как окрестили хитроумный расчёт каждого движения мускулов при работе, постепенно появились из капиталистически организованной индустрии и были ею поддержаны. Для общего характера механического производства имеет небольшое значение, находит ли та или иная машина своё применение сначала в Германии или в Америке. То же самое касается и методов труда, которые возникают при развитии современной техники.

Стремление организовать по возможности эффективное производство при минимальной затрате сил, теснейшим образом связано с современным машинным производством, и с капиталистической экономикой вообще. Всё более стремительно развивающееся применение сил природы, их техническое применение, постоянное улучшение инструментария, индустриализация сельского хозяйства и растущая специализация труда подтверждают это. То, что именно в Америке новейшие формы индустриального капитализма проявляются ранее, чем где-либо, не имеет ничего общего с национальными влияниями. В стране, которая

была так привилегированна природой, и в которой индустриальное развитие приняло такие быстрые темпы, крайние проявления капиталистической экономики вызрели раньше и сделались заметными в самых острых формах. Фред Тейлор, который вырос в этих процессах, и чей дух нисколько не был связан старыми предрассудками, с уверенностью инстинкта распознал необычайно широкие возможности этого развития. Постоянное повышение производительности труда было лозунгом времени и вело к дальнейшим улучшениям механического аппарата. Было ли это при таких условиях столь неслыханным явлением, что человек догадался подогнать машины из мяса и костей под ритм машин из стали и железа? От системы Тейлора до конвейера оставалось сделать лишь шаг. Форд пользовался изобретениями Тейлора, а его гениальность состояла лишь в том, что он развил эти методы в своих специфических целях и приспособил их к новым условиям массовой продукции.

Из Америки этот же метод распространился на всю Европу. В Германии рационализация привела к полному перевороту во всей промышленности. Сегодня под их знаком стоит французская промышленность. Остальные страны следовали с определёнными промежутками, должны были следовать, если их экономика не должна была превратиться в руины. Даже в большевистской России пошли по тем же следами и называют это социализацией системы Тейлора, не отдавая себе отчёта в том, что этим решается судьба социализма, который должна была претворить в жизнь русская Революция.

Что верно для этой новейшей фазы капиталистического развития, то же касается и развития капитализма вообще. Он везде проложил себе дорогу с теми же характерными побочными эффектами. Ни национальные границы различных государств, ни национальные или религиозные традиции не могли остановить его продвижения. В Индии, Китае, Японии и т.д. сегодня можно наблюдать те же явления, которые капитализм принёс в Европу, только развитие сегодня везде происходит быстрее. Во всех современных индустриальных государствах борьба за сырьё и рынки сбыта, который так типичен для капиталистической экономики, приводит к тем же самым результатам и накладывает на внешнюю политику капиталистических государств свою печать. Эти явления происходят везде с примечательным сходством и почти в тех же формах. Ничто, совершенно ничто не указывает на то, что тут действуют силы, которые можно было бы объяснить особыми национальными предрасположенностями того или иного народа.

Так же и переход от частного к монопольному капитализму, который мы наблюдаем сегодня во всех индустриальных странах, везде происходит одинаково. Везде становится видно, что капиталистический мир вошёл в новую фазу своего развития, которая ещё более явно показывает свой истинный характер. Капитализм пробивает сегодня все границы так называемых национальных экономических областей и всё более явно стремится к состоянию организованной мировой экономики. Капитал, который ранее чувствовал себя привязанным к каким-то национальным экономическим интересам, сегодня разрастается до мирового капитала и выстроить эксплуатацию всего человечества по единым правилам. Уже сегодня мы видим, как на месте бывших национальных экономических групп всё более чётко выкристаллизовываются три крупные экономические единицы: Америка, Европа и Азия. И нет причины, по которой это развитие не должно было бы продолжаться, пока капиталистическая система вообще ещё способна к сопротивлению.

Если раньше *свободная конкуренция* была великим лозунгом экономистов и политиков, которые усматривали в *свободной игре* сил необходимое проявление железного экономического закона, то сегодня эта уже устаревшая форма должна всё более и более уступать место экономической стратегии коллективных капиталистических конструкций, которые стремятся образования национальных и интернациональных трстов исключить

всяческую конкуренцию, чтобы добиться однородного диктата цен. Раньше взаимная конкуренция частных собственников в промышленности и торговле заботилась о том, чтобы предприниматель и продавец не могли в нормальные времена слишком высоко поднимать цены, сегодня же носители крупных экономических картелей вполне в состоянии прекратить всякую частную конкуренцию и предписывать потребителям цены с высоты своего всемогущества. Организации вроде *Международного рудного союза* и сотен других чётко показывают путь этого процесса. Вместе со старым частным капитализмом исчезает и его лозунг *laissez faire*, чтобы уступить место экономической диктатуре современного коллективного капитализма.

Нет, наша сегодняшняя система экономики не имеет ни одной национальной жилки, равно как и системы прошлого, равно как и экономика вообще. То, что здесь было сказано о современном индустриальном капитализме, верно и в отношении операций торгового и банковского капитала. Его представители и пользователи чувствуют себя вольготно в любом положении: по потребности они развязывают войны и организуют «революции», они предоставляют современной политике нужные лозунги, которые должны скрывать жестокую и ненасытную жадность небольших групп за обманчивым покровом вводящих в заблуждение идей. Посредством всегда готовой и лживой прессы они поправляют и формируют так называемое общественное мнение, и с холодным цинизмом обходят они все заповеди человечности и общественной морали. Одним словом, они делают личную наживу исходной точкой всех рассуждений и постоянно готовы принести этому Молоху в жертву радости и горести собственной нации и всего человечества.

«Где невинные умы чувствуют глубокие политические причины или национальную ненависть, нет ничего, кроме сплетённых флибустьерами финансового мира заговоров. Они эксплуатируют всё: политическое и экономическое соперничество, национальную вражду, дипломатические традиции и религиозные споры. Во всех войнах последней четверти века обнаруживается рука большого капитала. Захват Египта и Трансвааля, аннексия Триполи, оккупация Марокко, разделение Персии, резня в Манчжурии и интернациональная бойня в Китае по поводу Восстания Боксёров, японские войны - повсюду мы наталкиваемся на большие банки... Сотни тысяч жизней, в которые обойдётся война – какое до них дело капиталу? Голова капиталиста занята рядами чисел, которые друг друга уравнивают. Остальное – не его дело; у него нет даже нужной фантазии, чтобы включить человеческую жизнь в свои расчёты». (Р. Кропоткин, *La Science moderne...*, Paris 1913)

Капитализм везде одинаков в своих устремлениях, а также и в выборе своих средств. И его опустошительное воздействие на духовную и чувственную жизнь людей тоже повсюду одинаково. Его практическое воздействие во всех частях света приводит к тем же самым результатам и формирует людей определённым образом, ранее неизвестным. Если проследить бдительным взглядом за этим феноменом, то едва ли можно отделаться от впечатления, что наша современная экономическая система есть исторический результат определённой эпохи, а ни в коем случае не результат особых национальных устремлений. В возникновении этого состояния принимали участие силы всех наций. Если нужно действительно охватить самую его суть, то нужно углубиться в духовные и материальные предпосылки капиталистической эпохи. Но было бы бесполезной тратой сил, судить об экономических основах этого и всех предшествующих общественных периодов с так называемой национальной точки зрения.

В этом и есть причина, почему так называемый экономический национализм, о котором так много говорят, и который привлёк к себе даже убеждённых социалистов, так безнадежно идеалистичен. Из факта, что старые национальные экономические единицы сегодня всё более вытесняются мировой экономикой интернациональных трстов и картелей, было

сделано несколько поспешное заключение, что нужно перестроить всю экономику и организовать по-новому, причём – на основе особенных талантов и способностей, присущих каждому народу, которые обоснованы их национальной самобытностью. Так, работу в угледобывающей промышленности и её различных отраслях, обработку ткацкого сырья как виды работы, которые наиболее подходят национальному экономическому инстинкту англичан, в то время как о немцах утверждают, что они больше всего подходят для соляной промышленности, книгопечатания, химической промышленности и оптики. Так, они верят, что могут приписать каждому народу особое индустриальное дело, которое наиболее соответствует их национальным характерам, чтобы, таким образом, прийти к реорганизации всей экономической жизни.

На самом деле, эти идеи являются лишь новой версией подобных мыслей, некогда игравших значительную роль в трудах английских экономистов. Тогда тоже считали, что сама природа определила известные народы для индустрии, а другие – для земельного дела. Эта иллюзия давно рухнула, и её новейшую идеологическую версию едва ли ожидает иная судьба. Хотя и можно подвергнуть людей как отдельных существ экономической специализации, но никогда целые народы и нации. Эти и подобные идеи страдают той же неполноценностью, которая лежит в основе всякого коллективного представления. Они упорствуют в том, что определённые качества, которые можно более или менее ясно наблюдать у отдельных представителей, могут быть перенесены на общность, состоящую из самых разнообразных элементов. Человек, может вполне, из-за известных врождённых качеств и способностей, быть предрасположенным для работы химиком, крестьянином, художником или философом, но народ как целое не позволяет подвергать себя таким абстрактным представлениям, т.к. каждый из его членов обладает особенными склонностями и потребностями, которые открываются в богатом разнообразии своих устремлений. Именно эта всесторонность, в которой естественные таланты и склонности взаимно дополняют друг друга, составляет самую сущность каждой общности. Кто этого не замечает, тот совершенно не в состоянии понять органичную структуру общества.

То, что тут было сказано об экономической стороне общественной культуры, касается и политических форм общественной жизни. Они тоже могут быть поняты только как продукты определённых эпох, но никогда не могут быть судимы или восхваляемы как формы проявления каких бы то ни было национальных идеологий. Было бы бесплодным занятием обсуждать все прошедшие государственные формы с точки зрения их национального характера и содержания. И в этой области мы сталкиваемся с общественным процессом, который постепенно развился во всех частях европейского культурного горизонта, и уже по этой причине не был привязан к определённой национальной норме. Даже самые решительные представители национальной мысли не могут отрицать, что переход от государства феодального к национальному конституционному государству по всей Европе происходил при одних и тех же общественных предпосылках, и в большинстве случаев в совершенно похожих формах.

Абсолютная монархия, предшествовавшая сегодняшнему конституционному государству почти во всей Европе, столь же тесно срослась со старым феодальным хозяйствованием во взаимном воздействии, как позднее – представительская система с частным капиталистическим порядком. И как последний не привязан к национальным границам, так и парламентская форма правления служила не определённой нации, а всем так называемым культурным нациям в качестве политических рамок для их общественного действия. Даже картины упадка парламентской системы, которые можно сегодня наблюдать повсеместно, проявляются во всех странах сходным образом. Пусть Муссолини утверждал, что современный фашизм являет собой чисто итальянский продукт, который не сможет подделывать ни одна нация, новейшая история доказала нам, что это утверждение было

напыщенным и беспочвенным. Даже фашизм, несмотря на его доведённую до крайности националистическую идеологию, является лишь духовным продуктом нашего времени, который был порождён определённой ситуацией и нашёл в ней свою питательную среду. Общее экономическое, социальное и политическое положение, возникшее из последствий мировой войны, привело во всех странах к похожим устремлениям, которые лишь свидетельствуют тому, что даже экстремальный национализм можно оценивать лишь как симптом эпохи, который развивается в определённых общественных условиях и, в котором ни в коем случае не воплощается особый национальный дух определённого народа.

Современный политик в каждой управляемой парламентом стране запрограммирован на одну и ту же норму и везде преследует одни и те же цели. Это тип для себя, который обнаруживается во всяком современном государстве и формируется особенностями своей профессии. Зависимый от своей партии, чью волю он выражает, он всегда пытается сделать её мнение общим, а её особые интересы – защищать как интересы общества. Если он хоть чуть-чуть возвышается над умственным уровнем среднего партийного лидера, но он совершенно точно знает, что предполагаемая воля его партии является лишь волей небольшой группы, которая задаёт партии направление и определяет её практическую работу. Постоянно держать партию в руках и управлять её приверженцами так, чтобы все поверили, что следуют своей воле, в этом одна из самых характерных черт современной партийной сущности.

Сущность политических партий, на которых основывается всякое политическое правление, в каждой стране одинакова. Повсюду партия отличается от прочих человеческих организаций тем, что она постоянно пытается *прийти к власти*, а на своих знамёнах она написала цель *захвата государства*. Всё её организационное строение подражает государству, и как правительство постоянно управляется доводами государственного интереса, так и партия постоянно следует доводам особого *партийного интереса*. Действие или даже идея для своих приверженцев не плоха или не хороша, не справедлива или несправедлива, потому что это соответствует личным суждениям или убеждениям отдельных людей, а потому что это полезно или вредно для устремлений партии, приближает её к целям или препятствует их достижению. При этом партийная добровольная дисциплина, которую партия накладывает на своих членов, как правило, оказывается более действенной, чем угроза закона, т.к. принципиальное рабство коренится куда глубже, чем то, которое налагается на людей внешним насилием.

Пока партия не добьётся общественного влияния, к которому стремится, она находится в оппозиции к правительству. Но оппозиция для парламентской системы правления является таким необходимым учреждением, что если бы её не было, то её пришлось бы изобрести, как однажды цинично подметил Наполеон III. Партия становится сильнее, так, что правители государства вынуждены считаться с её влиянием, но ей делают всяческие уступки и при некоторых условиях призывают её представителей в правительство. Но именно существование политических партий и их влияние на общественную жизнь опровергают самым точным образом иллюзию некоего *национального самосознания*, ибо оно слишком ясно показывает, как безнадежно расколото и расщеплено искусственное здание нации.

Что же касается парламентского правительства как такового, то в отдельных странах хотя и существуют определённые различия, которые, однако, следует рассматривать как формальные отличия, а не как сущностные. Повсюду парламентская машина работает теми же методами, и с той же рутинностью. Обсуждения в законодательных органах служат, в своём роде, лишь театральными представлениями для внешнего мира и не преследуют цели переубедить противника или, хотя бы, пошатнуть его убеждения. Позиция так называемых представителей народа во время голосований по различным вопросам, стоящих на

обсуждении, в отдельных фракциях определяется заранее, и даже ораторский талант какого-нибудь Демосфена был бы не в состоянии изменить их. Если бы парламент ограничился только голосованием и воздержался бы от всякого открытого обсуждения отдельных предложений, то результаты едва ли были бы другими. Ораторские выступления, в общем и целом, представляют собой только необходимые принадлежности, чтобы поддерживать видимость. Во Франции это происходит точно так же как в Англии или в Америке, и было бы растратой времени, желать выявления особенных национальных черт в практических процессах отдельных парламентов.

Весь процесс развития до современного конституционного государства в Европе повсюду происходил по причине одних и тех же фактов более или менее похожих форм, т.к. в основе его лежали отношения, которые не только обладали действенностью для одной определённой нации, но проявились у всех народов континента с той же неотвратимой логикой, как бы ни сопротивлялись представители старого режима. Можно вполне установить временные различия, ибо великая перестройка происходила не во всех странах одновременно, но формы её проявления везде оставались одинаковыми и были вызваны тем же причинами. Это доказывает и возникновение и распространение так называемых меркантилистских учений, которые оказывали такое большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику абсолютистского государства 16-ого и 17-ого столетия. Эти учения были представлены во всех странах именитыми мужами: во Франции – Бодином, Монкретьеном, де Ватвилем, Сули, Мелон Фарбоннэ и другими, в Англии – Рэлей, Манном, Чайлдом, Тауэром и т.д.; в Италии – Галиани, Геновези и их последователями; в Испании - Устарицем и Уллоа, в Голландии – Гуго Гротиусом и Питером де Гроотом, в Австрии и Германии - Беккером, Хрнеком, Зекендорфом, Юсти, Зюсмльхом, Зоненфельсом и некоторыми другими. И в этом случае речь шла об общем умственном течении, произошедшем из общественного состояния Европы.

Чем больше абсолютистское государство в отдельных странах оказывалось непреодолимым препятствием всякого дальнейшего развития, чем яснее становилось разложение его экономическо-политических тенденций, тем недвусмысленней проявлялись со временем и стремления к политическому переустройству и новым экономическим открытиям. Безумная страсть к растратам при дворах среди голодающих народов, бесстыдная экономика любимчиков и любовниц, упадок сельского хозяйства вследствие феодальных привилегий и чудовищной системы налогообложения, угрожающее банкротство государства, восстания крестьян, которые привилегированными аристократами едва рассматривались как люди, разрушение всех моральных связей и то чувство бессердечного равнодушия, которое получило в знаменитых словах Помпадур «*Après nous le deluge!*» печальную известность – всё это должно было привести к падению старого режима и возникновению новых взглядов на мир. Происходило ли это изнутри, как в Голландии, Англии и Франции, или приносилось извне, как в Германии, Австрии и Польше, не играет никакой роли.

Так, из абсолютизма выросли критики и реформаторы общества вроде Монтескье, Руссо, Вольтера, Дидро и многих других, которым в Голландии и в Англии уже предшествовали мыслители с похожими идеями. Так же и течение *физиократов*, объявившее войну меркантилизму, рассматривавшее сельское хозяйство как единственный источник достатка для народа и стремившееся к освобождению всей экономики от государственных указов и регламентаций, возникло по тем же причинам. Знаменитое высказывание Гурне «*Laissez faire, laissez aller!*», которое служило максимой Манчестерской школе, имело изначально совершенно иное значение. Это был вопль человеческого духа против железных оков государственного попечительства, которое грозило задушить все проявления общественной жизни. Становилось всё более невозможным дышать свободно, и люди начинали тосковать по воздуху и по солнцу. Идеи Квисни, Мирабо, Бодо, де ла Риверы, Турго и других

удивительно быстро нашли боевых союзников в Германии, Австрии, Польше, Швеции, Испании и Америке. Под их влиянием и под влиянием Дэвида Юма Адам Смит развил своё новое учение и стал основателем *Классической Национальной Экономии*, которая вскоре распространилась на все страны, так же как и критика социализма, которая следовала ей по пятам.

И в этом случае речь шла о феноменах эпохи, которые были рождены из общих социальных условий определённого периода, и которые постепенно привели к перестройке государства и обновлению экономической жизни. Но уже Сен-Симон понял, что и эта форма политической жизни не будет последней, когда он говорил: *«Парламентская и конституционная система, которая столь многим кажется последним чудом человеческого ума, есть только переходное общество между феодализмом, на чьих руинах мы живем, и чьи путы мы ещё не совсем с себя сняли, и более высоким порядком вещей»*. – Чем глубже мы погружаемся в постепенное формирование политической и экономической жизни, тем яснее мы понимаем, что её формы возникли в общих процессах человеческого развития, и по этой причине не могут быть оценены с национальной точки зрения.

Перевод с немецкого: ndejra